



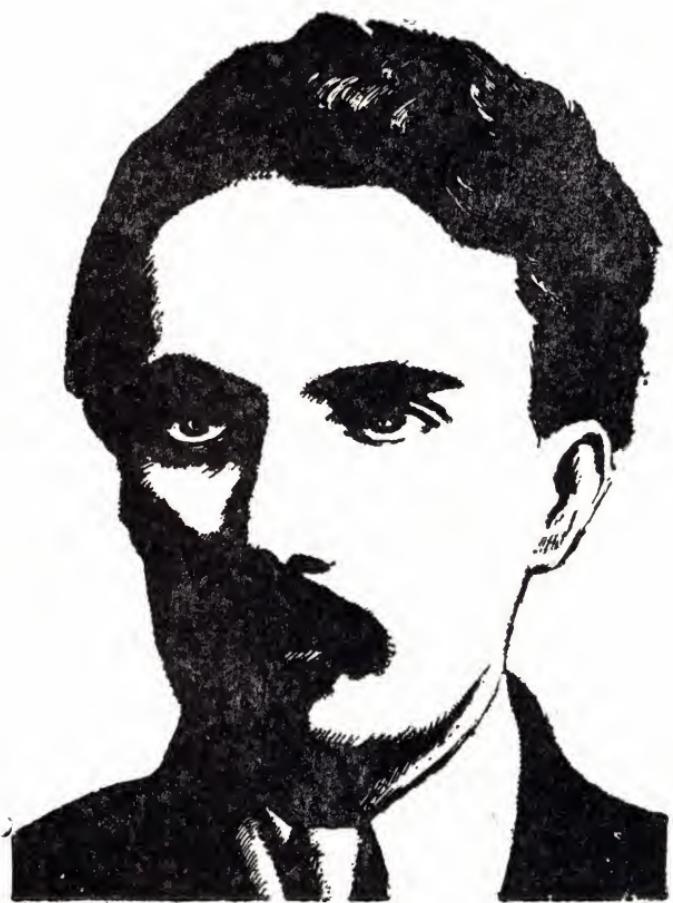
# ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

9 '91

Подписная  
научно-  
популярная  
серия

Г.П.Федотов  
О СУДЬБЕ  
РУССКОЙ  
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

ФИЛОСОФИЯ  
И ЖИЗНЬ



ПОДПИСНАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ

# ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

9/1991

Издается ежемесячно с 1960 г.

Г. П. ФЕДОТОВ  
О СУДЬБЕ  
РУССКОЙ  
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

(Из цикла  
«Страницы истории  
отечественной философской мысли»)

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Ф. И. Гиренок  
СУДЬБА РУССКОЙ  
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  
(Читая Федотова)

Г. П. Федотов  
И ЕСТЬ И БУДЕТ  
(Размышления о России и революции)

В ЗАЩИТУ ЭТИКИ

В САДУ РАЗМЫШЛЕНИЙ



МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ» 1991

ББК 87.8  
Ф 32

Автор и составитель: ГИРЕНОК Федор Иванович — доктор философских наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН АН СССР, профессор Московского технологического института.

Редактор: Л. К. КРАВЦОВА

Ф 32 Г. П. Федотов о судьбе русской интеллигенции. — (Из цикла «Страницы истории отечественной философской мысли»). — М.: Знание, 1991. — 64 с. — (Сер. «Философия и жизнь»; № 9).

ISBN 5-07-002068-4

25 к.

Г. П. Федотов (1886—1951) — один из крупнейших представителей русского философского зарубежья, крупнейшая фигура нашей постренессансной философии. В центре его внимания — судьба русской интеллигенции — «роковая тема», «ключ к пониманию России». В чем состоит трагедия русской интеллигенции и каковы выводы из ее истории? — Вот основные вопросы, ответам на которые посвящена брошюра.

0301020000

ББК.87.8

ISBN 5-07-002068-4

© Издательство «Знание», 1991 г.

Ф. И. ГИРЕНОК

## СУДЬБА РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ (Читая Федотова)

### ВВЕДЕНИЕ

Георгий Петрович Федотов (1886—1951) — это, пожалуй, самая крупная фигура постренессансной философии в России. Если ренессанс блистал в течение немногих лет, что протекли от смерти В. Соловьева (1853—1890) до смерти В. Розанова (1856—1918), то постренессансная философия еще и в 50-е гг. нашего века была живой и плодотворной. Федотову не везло на признание в академических кругах. Его имя мы не встретим в истории русской философии ни у Н. Лосского, ни у Б. Яковенко\*, ни у В. Зеньковского\*.

Между тем в Европе его можно было бы сравнить с Ортегой-и-Гассетом\* и М. Вебером\*. В русском зарубежье его знали как публициста. Церковь видит в нем специалиста по агиологии, т.е. житию святых. У нас в России его сравнить не с кем. Здесь его просто не знают, хотя работы Федотова по истории русской культуры являются классическими. А между тем для того чтобы имя Федотова попало в список авторов, обязательных для изучения в учебных заведениях, достаточно трех его работ: «Трагедия интеллигенции», «Esse Homo» и «Рождение свободы». А его «Письма о русской культуре» должен был бы знать каждый школьник.

Аналитические возможности Федотова поражают воображение. При чтении его работ, таких, как «Конец империй», «Запад и СССР», «Будет ли существовать Россия», приходишь к мысли, что они написаны не исследователем, а пророком. Духовная ситуация нашего времени провидчески описана Федотовым в таких работах, как «В защиту этики», «В борьбе за искусство». Изящность слога выгодно отличает его от иногда тяжеловесного С. Булгакова, а строгость мысли — от бесконечно повторяющего самого себя Н. Бердяева.

\* Здесь и далее: пояснения к словам и именам, помеченным звездочками, см. в конце текста.

О жизни Федотова нам известно немного. Знакомые и со-служивцы смотрели на него по-разному. Например, Н. Лос-ский видел в нем «мелкость ума» и «злобу», а Н. Бердяев, на-против, говорил о талантливости и утонченности мысли Фе-дотова. Зинаида Гиппиус\* подозревала в нем коварство, Ф. Степун\* отмечал порядочность. Правым в нем не нравилось «левое», левым — православность. У Федотова вообще, на мой взгляд, как-то не складывались отношения с людьми. Он нелегко шел на сближение и опасался потерять барьер, за ко-торым всегда можно было бы укрыться от любопытных взгля-дов. Такой барьер на пути к нему не удалось преодолеть даже Марине Цветаевой<sup>1</sup>.

Федотов был всегда ровен, спокоен, вежлив. Он умел вла-деть собой. Эта выдержка принималась за бессердечие, а его любовь к единенности — за нелюбовь к людям. Пожалуй, никогда так комфортно он не чувствовал себя, как в дни об-щения с членами религиозно-философского кружка\* (и прежде всего с А. Мейером\* и А. Карташевым в послереволю-ционные годы).

В этом кружке хотели Советскую власть «скрестить» с православием и получить что-то диковинное, вроде христи-анского социализма. Кружком интересовались левые Мереж-ковские\*, но он оказался левее, чем они думали, и они отстали от него. Позднее более или менее сердечные отношения у него установились с Бердяевым. Родственность душ связы-ла Федотова со знаменитой матерью Марией\* и Бунаковым-Фондаминским.

С коллегами-преподавателями у Федотова были более сложные отношения. Простым отношениям мешали рыцар-ские представления Федотова о чести.

Так, из-за несложившихся отношений с профессорами Са-ратовского университета Федотову пришлось уйти оттуда, уехать обратно в Петербург и заняться переводами.

Не менее сложными были и его отношения с профессорами Богословского Православного института в Париже. «В насто-ящем состоянии мира, — говорил Федотов, — оппозиция единственно возможная и достойная позиция перед ним». И он, невольно следя К. Леонтьеву\*, эту позицию старался от-стоять. Благодаря воспоминаниям Ю. Иваска, Ф. Степуна и Е. Федотовой\* мы можем понять, что Федотов вряд ли был го-тов к роли «героя нашего времени». Сам он как-то раз заме-тил, что герой нашего времени — не художник и не мысли-тель, а воин, организатор и спортсмен.

Но что поделаешь, если 1 октября 1886 г. в Саратове в доме крупного губернского чиновника родился не гениальный нападающий, а мыслитель и оппозиционер. И притом довольно шуплый. Сколько бы юный Жорж ни старался подняться по веревке в гимнастическом зале или подтянуться на турнике, этого ему ни разу не удалось сделать.

То, что жизнь не любит слабых, Федотов понял еще в интернате одной из гимназий Воронежа, куда он был помещен по бедности семьи за казенный счет.

В гимназии же начался и «роман» Г.Федотова с социал-демократией. «Правдой социализма поправить мир» — от этой идеи он никогда не отказывался.

В 1904 г. Федотов заканчивает гимназию и «по идейным соображениям» поступает в Технологический институт в Петербурге. Ему, который любил латынь и греческую мифологию и который ничего не понимал в технике и машинах, необходимо было стать инженером, чтобы приблизиться к рабочим и открыть им правду социализма. В этом он повторил С. Булгакова, который привязал себя по тем же соображениям к тачке политической экономии. Известно, чем заканчиваются идейные увлечения. В 1905 г. Федотова арестовали. Ночью в дом его деда-полицмейстера пришли жандармы и тихонько, чтобы не разбудить старика, увезли с собой его внука. Федотов попадает в Германию и время ссылки проводит за изучением истории.

В 1908 г. он возвращается в Россию и поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета, где посещает семинар Грэвса\*. В 1910 г. он вновь эмигрирует. На этот раз в Италию. Через год возвращается и живет по поддельному паспорту. Затем его ссылают в Ригу. Здесь же он сдает магистерский экзамен и в 1914 г. получает звание приват-доцента Петербургского университета. Затем революция и неприязненное к ней отношение Федотова. Работа в Саратове...

Некоторые эпизоды в жизни Федотова остаются непроясненными. Например, не ясен смысл слов, сказанных ему друзьями в 1925 г. перед отъездом из России за границу: «Торчи, где воткнут». Что это значит? «Нести свой крест»? А. Мейер остался, Федотов уехал. Мейера убили в лагерях, Федотов, слава Богу, умер сам. Какую невысказанную истину нес в себе каждый из этих поступков? Почему позднее, в Париже, ситуация повторилась? Федотов уехал в США, опасаясь появления немцев. Бердяев и мать Мария отказались от

переезда и остались во Франции. Федотов как-то сказал, что он не может молиться о мирном скончании живота, что умирать надо на баррикадах или хотя бы под забором, но не в кровати, не мирно. Но баррикад у него не было, не было и «забора». В самой натуре Федотова было что-то «монашеское» в том смысле, который он сам придавал немирской душе отшельника. Не нравственные поступки, а усилия по восхождению к каким-то неведомым для нас грешных вершинам отличали Федотова. Под знаком какой из четырех стихий построил свою жизнь Г. П. Федотов? Ответ на этот вопрос дает он сам: портрет русской интеллигенции, выполненный Георгием Петровичем, является его автопортретом. «Беззаветно преданный народу, искусству, идеям — положительно ищущий, за что бы пострадать, за что бы отдать свою жизнь. Непримиримый враг всякой неправды, всякого компромисса. Максималист в служении идее, он мало замечает землю, не связан с почвой — святой, беспочвенник (как и святой бессребренник), в полном смысле слова. Из четырех стихий ему всего ближе огонь, всего дальше — земля, которой он хочет служить, мысля свое служение в терминах пламени, расплавленности, пожара».

«Огонь» — это «крест» социализма, который нес на себе Федотов. «Земля» — православие, главное событие как в истории России, так и в жизни философа. Между ними — «Молчание» и «Слово» Федотова; его сближение с русским студенческим христианским движением и отход от него, идея Нового Града и орден «Православное дело», и «Надежда». Надежда — лучшее слово человеческого языка. Так считал Федотов.

В 40-е гг. он работает в Америке. Он пишет книгу «Русская религиозная мысль» на английском языке. С возрастом ему становится все труднее дышать «тяжким воздухом земли»<sup>3</sup>. Федотов умер в Бэконе в 1951 г.

Г. П. Федотов интеллигент. Рассказывая о судьбе интеллигенции, он рассказывает о трагедии своей души, история которой совместилась с историей самосознания Европы и России. Вот это тройное совмещение делает трагедию интеллигенции в изложении Федотова символичной. Трагедия русской интеллигенции, как и всякое драматическое действие, развивается в нескольких действиях.

Действие первое названо Федотовым «Царским селом». Это название — ловушка историка, который рассказывает не об истории, а о том, что может быть названо мышлением истории, т.е. ее схематизмом. Учитывая этот схематизм, можно

сказать, что «Царское село» — это не село, а символ распада русской души, т. е. начало существования интеллигенции. У истоков ее существования стоит царь Петр I.

Второе действие происходит в Москве, на Арбате. Здесь находились «особняки», которые вместе с гуманизмом производили имитации гуманизма. Третье действие Федотов ~~съязвал~~ с «Екатерининским каналом», по которому стала циркулировать беспочвенная идеяность. В четвертом действии из трагедии русской интеллигенции представлен «Таврический дворец», привилегией в котором стала свобода. И последнее (пятое) действие трагедии Федотов переносит в «Кремль». В этом действии звучат уже трагикомические нотки, ибо социалистический Кремль оказался, по мнению Федотова, всего лишь блудным сыном христианства.

## ЦАРСКОЕ СЕЛО, ИЛИ РАСПАД ДУШИ

Интеллигенция — это роковая тема, «ключ к пониманию России». Само ее появление стало возможным, по Федотову, лишь в результате распада народной души. Когда, в какой момент нашей истории он (этот распад) проявился? Не оживали ли тени зазеркального мира интеллигенции в смене идеалистов реалистами, реалистов — критически мыслящими личностями, последних — народниками, ну а народников — марксистами-социалистами? В этой сменяемости просматривается полный жизненный цикл интеллигенции, ее колесо, с которого она не может соскочить и по сей день. Чтобы понять, что тебя ждет, нужно понять, в какой фазе цикла ты находишься. Если ты критически мыслящая личность, то идеалистом ты уже был, а народником скоро станешь. Полное высвобождение энергии, обусловленное распадом души, происходит на заключительной стадии, в момент появления интернационал-социалистов, ибо в этот момент интеллигенция занимается самосожжением, т. е. отрекается от самой себя.

«Царское село» — это время Новикова и Фонвизина, союза поэтов и «орлов-завоевателей». Это время имперских чувств интеллигенции, тех чувств, которые, видимо, испытал и Федотов в период евразийских\* увлечений. Если мы понимаем, что есть жизнь и есть еще идеалы, отличающиеся от жизни, то на таком уровне понимания мы в круг интеллигенции не войдем. Ведь русский интеллигент — это человек, который жизнь подчиняет идеалу и за это подчинение готов идти на смерть. Идея для него — это своего рода служба, поссе-

щать которую он стал в петровские времена. Но трагедия состоит не в этом. Идеи, которым мы служим, созданы чужими усилиями, не нашим умом. А это значит, что в интеллигентском служении идеи изначально образовались пустоты, которые жизнью легко простукивались. Ведь интеллигенции нужно было быть на уровне идей, ею не созданных. А для того чтобы подтянуться к этому уровню, необходимо оторваться от почвы, т. е. от всего того, что вырастает, а не создается. «Царское село» — символ оторванности интеллигенции от народа. Это момент, когда ее уже отнесло от берега, но она все еще держится за власть. История души, продуктом распада которой является интеллигенция, сменяется историей «имморального человека», т. е. человека ХХ в.

В ХХ в. «личность теряет до конца свое достоинство, свое отличие от животного»<sup>1</sup>. Этой констатацией Федотов вводит нас в тему «имморального человека».

Для современного околонаучного сознания проблема человека предстает прежде всего как проблема биосоциальная. Изощренное сознание антропософа работает с тремя элементами (или факторами): природными, личностными и социальными. И то и другое сознание поставлено «на постав» своей продукции для одичавшего сознания цивилизованного человека. Этими поставками много лет кормилась и «новая демократия», т. е. советская интеллигенция.

Федотов — религиозный человек, и, как всякий православный, он понимал проблему человека, не мудрствуя лукаво. У каждого человека есть два лица. Одно он имеет от природы, а другое он мог бы иметь как Божью идею о нем. Бесконечное приближение первого ко второму как раз и составляет содержание по-двига, т. е. подвига быть человеком. Проблема «имморального человека» состоит в том, что он теряет это подвижничество, теряет лицо. Но если нет этого второго лица, если нам досталось одно, то какие мы тогда с монолицом? Куда идем (если идем)? К чему совершается наш подвиг?

В контекст этих вопросов вплетается и нить судьбы русского человека. Да, видимо, она и плелась-то Федотовым для того, чтобы получше рассмотреть его новый нехристианский образ. Федотов не уставал повторять, что слова не невинны, что есть «магия слов» и этой магией окутана тайна происхождения советского человека. Были русские, а стали советские. Не укладывается ли это «становление» в структуру пути к имморальности, для которой «русскость» всего лишь куколка бабочки, а не сама бабочка. Всматриваясь в лица энтузиастов

первых пятилеток, он никак не мог в них распознать дорогие ему черты. Возникла новая порода людей, в которой, если верить Федотову, не видно не только универсального человека империи, но и от аскетического образа старообрядческой Руси ничего не осталось, не говоря уже о «вечевом» человеке Новгорода.

«Человек, — с горечью писал Федотов, — стал сам себе противен до ненависти, до потребности убить себя, или, по крайней мере, разбить свое отражение в зеркале»<sup>2</sup>. Анализ сущностной метаморфозы современного человека построен Федотовым на различении тела, души и духа. Это различение живет в традиции, идущей со времен ап. Павла. Что такое тело? То же, что и природа, которая попадает в нас, не спрашивая нас. Но мы не выбираем и дух, то, что сближает нас с ангелами. И тело, и дух вне сферы действия «человеческого». Это низ и верх его природы: минимум и максимум самого его существа. В каждом человеке есть что-то звериное и что-то святое. Первое коренится в теле, второе — в духе. Но ни в том ни в другом еще нет ничего человеческого. От ангела есть, от зверя есть, а от человека нет ничего. Для того чтобы обозначить человеческое в человеке, ап. Павлом как раз и вводится слово «душа». Душа — это тот срединный путь, который, если и не приведет нас к святыни, то не позволит свалиться в пропасть звероподобия нашей натуры.

Распад души — вот главное событие XIX в., т. е. не революция, не открытие атомной энергии и, конечно не теория относительности определили судьбу человека, а распад его души и освобожденная этим распадом энергия. Отныне утеряна уравновешенность «пакостного» и «святого» в человеке. «С цепи сорвались не только звери, но и ангелы, и каждый теперь выделяет свое «незамысловатое «па».

Анализ причин распада души Федотова едва намечен. Но вот симптомы этой болезни описаны подробно. Начиная с Канта, философы утверждали о том, что в человеке есть «вещи», которыми никто не может овладеть. Но социализм показал возможность полного овладения человеческой личностью. Оказывается, в природе нет таких законов, которые бы запрещали использовать человеческую личность так, как используют любое другое готовое к употреблению изделие. «Государство, — пишет Федотов, — не оставляет ни одного угла в его жилище, ни одного угла в его душе вне своего контроля...»<sup>3</sup>. Мысль, искусство перестали быть делом личности, они стали функцией государства. Для государства-зверя полити-

ка становится человеческой отраслью животноводства. Освободившееся животное начало человека пошло гулять по «газонам» цивилизации. И поэтому самая ходовая фраза современности звучит неброско: «больше цивилизации и цивилизованности». Разгулявшуюся «скотинку» нужно выдрессировать и приучить к работе. То есть работник, производитель — «вот все, что остается от человека»<sup>4</sup>. В обществе стали пользоваться успехом не мыслители, а спортсмены. Когда-то люди сражались за свободу, но в XX в. они уже сражались за партии. Появилась возможность (прежде немыслимая) смерти за вождя, и многие эту возможность использовали. Люди перестали говорить с Богом, но зато в них проснулась жажда к ясновидению и экстрасенсорной чувствительности. Утолять эту жажду подрядилось пока еще малочисленное, но быстро размножающееся племя магов, чародеев и теософов. В верхних слоях интеллигенции разрушается старая эстетика и создается новая. В ее нижних слоях увлекаются оккультизмом, дитетой и йогой. Между этими слоями нет почти никакой видимой связи.

Новая эстетика мира — в игре звуков, слов, линий и цвета. Человек, используя принцип «остранения», добрался до бессмыслицы мира и, кажется, здесь застрял. «Современный человек, — по замечанию Федотова, — еще не отличается существенно от старого Homo Europaeus — несколько больше зверь, несколько больше дух, с ослабленными центрами рас- судка и чувства»<sup>5</sup>. А так все по-старому: те же глаза, нос, уши. Нет только души. Ее нет ни в живописи, ни в литературе, ни у работника. Куда же она испарилась? Почему человек ведет себя так, как если бы из него кто-то вынул стержень и он обмяк? Нельзя сказать, чтобы человек был уже слишком зол, но нельзя сказать, чтобы он был и слишком добр. Ни добрый, ни злой, ни умный, ни глупый, т.е. никакой. Вот эта «никакойность» оттеняется натурами ангельскими и животнообразными. Федотов, воспитанный на идеалах личности, расцветшей в средние века, не мог не заметить, как на горизонте XX столетия появилась новая порода людей, которая ничем не руководствовалась. Поступки были, а целей и мотивов не было. От имморального человека можно было ожидать всего. Все возможно. Вот этим принципом и объясняется смерть души, что, согласно Федотову, есть не что иное, как смерть морали. Святость, как и природа, внemоральна. Все позволено для зверей и ангелов, но не для человека. Иными словами, не каждый человек может пуститься в поиск исти-

ны, не для всех открыты ворота в мир искусства и творчества, немногие из нас могут выдержать тяготы мистической жизни. Те из нас, кто носит в себе зверя (или ангела), прорываются в «Касталию», обгоняют гениальную скаковую лошадь\*.

Но каждый человек может достигнуть «этической гениальности»<sup>6</sup>. То есть нет ни одного человека, который бы не мог не достигнуть вершин морали. Именно поэтому мораль, а не эстетика близка религии. Вот почему в Евангелии Христос говорит так много о том, как относиться к ближнему, и ничего не говорит, как писать стихи или заниматься математикой. Федотов развивал эту мысль под знаком понимания проблемы смерти и бессмертия. Сознание смерти отличает человека от ангела и от зверя. Под смертью Федотов разумеет не физический акт старения и угасания, а символический. Иными словами, смерть возникает как последствие. Последствие чего? Моего собственного акта, предпринятого мной шага. Ведь мораль — это сознание моей возможной гибели, возникающей как последствие моего собственного акта. Здесь каждый шаг — риск. Имморальный человек не рискует, он, по словам Федотова, пишет стихи и шагами логики измеряет мысль. Здесь нет этой роковой зависимости, и поэтому современный человек не знает и проблемы бессмертия.

Незнание помогает натуральному человеку жить животной жизнью, а духовному — ангельской, но лишь душевный человек пребывает среди человеческого. Вот этого-то человека и нет. Своими исходными метафизическими допущениями язык Федотова исключал возможность точного определения причины гибели души, которая не может не распасться, если утеряна связь с одним из четырех мировых элементов — с землей. А земля — это крестьянин. Гибель крестьянства — вот то мировое событие, которое феноменологически фиксируется Федотовым как распад души и которое еще не одну сотню лет будет возвращаться к человеку в виде непредсказуемых следствий его собственных дел.

Ренессанс тела и возрождение духа только усиливают тоску по душе, которая делает оправданной критику как науки, так и оккультизма. В бездушном мире человека возникает одна уникальная проблема, подмеченная В. Соловьевым в «Трех разговорах» и затем обсуждаемая почти каждым русским философом. Это проблема поддельности добра, или, как ее назвал Федотов, проблема антихристова добра.

«...Смотря на многих современных «духоносцев», трудно решить: от Бога ли они или от дьявола»<sup>7</sup>. То есть Бог и дья-

вол, Христос и антихрист стали неразличимы. В этой неразличенности вырастает подозрительность к добру и истине. То, что зло может осуществляться в форме добра, знали Кант и Достоевский. Но вот о возможности появления христианства без Христа впервые заговорили русские философы. То есть о чем они заговорили? О том, что есть добро в мире, да нет добрых людей; есть знание, но нет знающих. Нет кого? Нет тех, кому вменяется поступок, т. е. нет морали. Пусто. Страх перед пустотой заставляет всех плотнее жаться друг к другу. Во время сжатия рвутся традиционные связи, кровные союзы. Как грибы, вырастают партии, союзы, общества. Миром правит масса. Современный человек, описываемый Федотовым, — это человек, обретающий себя в этих компактных общностях. В них он находит свою идентичность. Символом нового человека был для Г. Федотова М. Горький.

Новым людям не нужна свобода. Она нужна органическому\* человеку, а современный человек предает ее на каждом шагу. Внemоральная духовность составляет суть антихриста добра. Имморализм — это не открытое восстание дьявола на добро, а имитация добра, его камуфляж. Антихрист — это первый имморальный субъект, который в отличие от дьявола творит зло в форме служения добру.

Самое страшное падение человека состоит в том, что он, по словам Федотова, отказался от свободы. Угрозу для свободы ждали от генералов и королей. Но она пришла не с той стороны, откуда ее ждали. «Свободу разрушает восставший народ»<sup>8</sup>. Массы, как кочевники, ворвались в историю и натворили в ней много бед. Удушение свободы — одно из них. Но первыми предали свободу не массы, а культурная элита, интеллигенция. Ведь «форма мышления массового человека, в общем, не отличалась от мышления интеллигента»<sup>9</sup>. Формируя этот ход мысли, Федотов существенно модернизирует концепцию «массы» Ортеги-и-Гассета. Для Федотова подозрительность к добру, к морали обнаруживает изначальную беспочвенность гуманизма. В этических рассуждениях Федотова переосмысливается нравственный поступок. Как правило, замечает Федотов, мораль не отрицается. Напротив, подчеркивается ее полезность и нужность. Мораль — дело нужное, но как бы второго сорта. На фоне антихристовой морали становится очевидным, что мораль — это не общезначимые нормы, не законы. Законы морали еще никого не спасли. Нравственный поступок состоит не в приложении закона, а в акте доопределения мира. Без доопределения он распадается.

Иными словами, Федотов пытается проанализировать способы, которыми современный человек сохраняет единство жизни. Это единство достигается либо плетением органических связей, либо Волей. «В воле, — писал Федотов, — мы и находим настоящий ключ к смыслу нашей эпохи. Воля — есть единственная сила души, которая не подверглась отрицанию, ибо она как-то менее всего выражает душевность. Воля, с одной стороны, духовное, с другой — телесное напряжение. В ней сходятся верх и низ человеческой природы и заключают свой военный союз против центральной державы — души»<sup>10</sup>.

Человеку действия нужна не свобода. Свобода нужна мыслителю, а не спортсмену. Тому, кто действует, нужен вождь. Ему необходимо научиться свою волю подчинять целому. «Дух, воля, тело — вот полная схема нового человека...», — каким его представляет себе Федотов<sup>11</sup>. «А человек — человек сейчас звучит совсем не гордо, как некогда для Горького. Человек так слаб, грешен и беззащитен. От его величия к низости — один — и такой маленький шаг»<sup>12</sup>.

## АРБАТ, ИЛИ ИМИТАЦИЯ ГУМАНИЗМА

«Арбатские переулки» — это знак, по которому узнается новая резиденция русской интеллигентской мысли. Герцен и Белинский — поверенные этой мысли — находятся в оппозиции к «Царскому селу». Здесь, в переулках, осуществился полный отрыв русской интеллигенции от национальной почвы. Ничто уже больше не держит ее у родных берегов. Интеллигенцию сорвало и понесло в никуда, как уносит ветром перекати-поле. «Очаг чистой мысли» образует мир, гражданином которого она становится. В арбатских переулках достигнут «предел законной европеизации» русской культуры. Но интеллигенция, разогнавшись, уже не может остановиться и выходит за предел, за которым западничество русской мысли превращается в «бесплодное и косное твержение задов». В арбатских переулках русской интеллигенции была выношена манихейская идея о существовании светлого и темного миров. Светлый мир — это демократия, свобода и равенство, в темном мире растут цветы зла: религия, национальное чувство и патриотизм. Светло в Европе, темно в России. Если тьму что-то и рассеет, то это свет от солнца, которое взошло на Западе. В России, как и в любом другом уголке христианского мира, столь же света, сколь и тьмы. Но по правилам игры в светлый мир демократии, свободы и мысли (а позднее и

социализма) можно было войти лишь ценой отказа от национальных и религиозных чувств. Всякий, кто поднимал руку на атеизм, рисковал ударить по мысли, выступая за сохранение культурных традиций, он мешал демократии и оказывался реакционером. Чувство свободы и патриотизма не вмещалось в душе русской интеллигенции. Вот эта несовместимость лежит в основе имитаций гуманизма и, следовательно, в основе гибели гуманистической культуры, описываемой, как правило, в терминах различия цивилизации и культуры.

«Мы, — писал философ, — живем в эпоху гибели гуманистической культуры»<sup>1</sup>. Не государства, не общества, а культуры. Почему? Федотов, наводя порядок в беспорядочном русском сознании, запрещал говорить о гуманном государстве. Мыслить гуманного Левиафана\* — это то же самое, что природу уличать в подлости.

Но если гибнет культура, то почему же нет погибших, не видно «печалуемых» и скорбящих? Сама постановка такого вопроса является одним из способов объективации мысли Федотова, аналитической реконструкции его возможного ответа. Культура традиционно мыслилась в оппозиции к цивилизации\*\*. Утверждая, что она гибнет, Федотов, казалось бы, должен был рассказать нам о том, что же происходило в этот момент с цивилизацией. Может быть, нам достаточно гуманной цивилизации?

Культура погибает, а цивилизация шаг за шагом повышает свой уровень, и каждый этот шаг превращается в праздник. «Розовые щеки» рабочей силы цивилизации продолжают розоветь и в эпоху гибели гуманизма. Да так ли он и нужен этот «гуманизм» и эта «культура», если их гибели никто и не заметил?

Вот эта «розовость щек» при полном отсутствии лица составляет для Федотова загадку, разгадывание которой строится им в терминах различия цивилизации и культуры. Культура понимается Федотовым традиционно для русского философа: культура — это культура. Она рождается в храме из культового действия. Цивилизация родилась на улице в борьбе с природой. Культура — аристократка, цивилизация (и в этом Федотов солидарен с Бердяевым) имеет вид парвеника\*. Символика культа определяет лик культуры, унитаз — визитная карточка цивилизации.

<sup>\*\*</sup> В русской философии цивилизация понимается в качестве того, что основано на замещении естественных вещей искусственными. Культура же основывается на стремлении человека стать человеком.

Гуманизм — это взгляд из храма на улицу, сострадание к страдающему человеку. Но христианский оттенок в понимании гуманизма не совпадает с ренессансным. В эпоху ренессанса гуманизм обозначает литературу, воспевавшую славу и творчество. Не страдающий человек, а творящий составляет пафос гуманизма. Гуманисты, скитавшиеся по дворам тиранов, мало помышляли о свободе. В век Борджа\* ни о какой гуманности не могло быть и речи. Позднее в предположении, что нет ничего, что могло бы быть выше человека, гуманность и гуманизм совпали и стали практически неразличимыми. Для гуманизма в наши дни нет корней, как и для сострадания. Почему? Потому что нет предмета для него: есть творчество, но нет творящих, как нет больше и страдающих. Многие люди разучились страдать (страданиями духа, а не тела), и поэтому сострадание лишилось почвы.

«Гуманизм в наши дни — хрупкая вещь, ибо он не поддерживается больше общим потоком жизни и требует очень глубоких корней для своего существования»<sup>2</sup>.

В трактовке гуманистической культуры Федотов остается мыслителем XIX в. Иными словами, человек для него и не сверхчеловек, но и не животное. Федотов в самых изысканных выражениях передает свое восхищение и свой душевный трепет при встрече с такими словами, как свобода, личность, самость, мысль. Иногда даже кажется, что гибелью культуры он называет само существование XX в., в своих последних основаниях оставшегося ему чуждым и непонятным. В нем философа раздражает все: поэты не те, музыка не та, живопись вовсе не в какие ворота не лезет. Федотов недоумевает: неужели художники больше не различают лицо человека и его сапоги? Из литературы напрочь исчез лелесмый христианством «внутренний человек». Дух, на котором нет печати святого Духа, заполонил мир. Он с ужасом замечает, что на каждом шагу сталкивается с отвращением к человеку. Везде он видит следы если не эроса безобразия, то эстетики распотрошеннного мира. В ситуации человека, испытывающего отвращение к самому себе, гуманизм возможен только как имитация.

Мир изменился, дела первых гуманистов растворились, а их слова остались, и Федотов этими словами пытался удержать поток жизни в гуманистическом русле. В XX в. разум, конечно, уже не спит, но лучше бы он спал, потому что бодрствующий разум, утратив почву, рождает монстров. Сознание оказалось чем-то «бессознательным». Не осталось ни од-

ногого человека, который мог бы сказать: «Я подумал». Мысль перестала быть делом личности. Ее свобода основана на неверии, а свобода вообще — на невозможности истины. Апофеоз беспочвенности мысли делает правомерной только одну установленность относительно лица, выражаемую словами: «Во мне что-то подумало». Федотовская констатация этой имитации органической мысли объясняет, почему человек перестал смотреть и видеть. И в этом смысле слова Пастернака: «Меня деревья плохо видят на отдаленном берегу» — уже не кажутся странными. Скорее они выражают философию нашего времени точнее, чем все сочинения Декарта и Канта.

В XX в. нет не только дела личности, но нет и самой личности. Мир оставил ее столь любимым для Федотова средним векам, а сам, следя грехам, довольствуется ее имитацией. Для того чтобы была личность, нужна душа, а не конвойер жизни. Мысль и добро стали делом не личности, а гражданина мира. Дело личности — Бог, т. е. оно было тогда, когда Бог еще был жив. Но Бог умер, и умер человек. Мы говорим «самость», но как можно быть самому, если нет почвы под ногами? Только рефлексивно, в имитации. Не личности, а огромные глыбы человеческих масс — вот в каком «строительном материале» нуждается цивилизация. Действительные вопросы жизни услышали не гуманисты, а фашисты, но они дали «ложный ответ на подлинный вопрос»<sup>3</sup>, т. е. биологизировали национальную проблему.

Отказ от человека, от гуманизма выражает подлинное умонастроение современного человека. Субъективно, т. е. лично, Федотов решительно возражает против этого отказа. Он стремится возродить старые добрые ценности, не замечая, что их время прошло, что все они уже осуществились в нигилизме. Федотов не принимает полностью философию возвращения, ее реабилитацию органической жизни. Для него органическая жизнь — это что-то слишком «травяное», растительное. Противоречивость взглядов Федотова на «органику» обусловлена пониманием того, что культура уже отправлена «цветами зла, выросшими в подполье», что она неизбежно в новых поколениях и с новой силой будет возрождать идеологию фашизма. Гуманизм, согласившись на релятивизацию\* духовных основ жизни, допустил возможность таких последствий релятивизации, которые исключают человека, делают его невозможным.

Вот эта «невозможность» и беспокоит Федотова. Ее-то он и называет «гибелью» гуманистической культуры. То есть у нас

не осталось никаких оснований для того, чтобы, например, выделить гуманизм в качестве какой-то привилегированной ценности. Нет абсолютных ценностей: какие-то лики абсолюта можно было разглядеть при заходящем солнце религии, но затем наступил мрак полного гуманизма, при свете которого выяснилось, что для примитивного хозяйства пригодна не этика гуманизма, а этика каннибала\*. Гуманизм и каннибализм одинаково оправданы, и одно не лучше другого. Все имеет свой смысл. Для демократии, например, столь же причин, сколь их существует и для тирании.

Христианское сознание Федотова скрупулезно описывает лестницу, по которой ХХ в. спускается к архаичным смыслам истории. Добравшись до древних культур, он не остановился и пошел дальше — к примитивным культурам. Во что должен был превратиться европейский человек, чтобы открыть себя искусству негров. Не любовь к «примитивам» заставляет нас искать их общества, а поиски стимула, который пришпорил бы обессилевшего европейского человека. Негритянская пляска — это тот уровень, на котором постаревший европеец еще может что-то почувствовать. Его неспособность причинять человеку страдания при неспособности еще более несомненной любить его, свобода выбора при бессилии сделать выбор, свобода добра и зла при безразличии к добру и злу.

Безволие и бессилие — способ существования человека в мире относительных ценностей.

«Исход к Востоку», с идеей которого выступили евразийцы, стал соблазном для христианина. И Федотов не один раз обращался к анализу этой идеи, продумывал ее посылки и следствия. Даже славянофилы не избежали этой «восточной» опасности. Федотов, симпатизируя Хомякову и Киреевскому, тем не менее усматривает в описываемой ими славянской психее язычество. Эта психея уводит нас, говорит Федотов, далеко на Восток. «Еще шаг — и мы уже в Индии с ее окончательным провалом личности»<sup>4</sup>. Для избранных Восток — это буддизм, для массового сознания он поставляется в виде антропософии и теософии\*. Восток — это отказ от опостылевшего «Я», от ответственности и свободы. Или Восток, или Космос — вот два пути отказа. Сознание личности уничтожается в различных концепциях космизма. «Из человека, — сожалением констатирует Федотов, — вынули тот стержень («Я»), который ранее делал его героем драматической или героической борьбы. От отчаяния спасает лишь ощущение космиче-

ского лона, которое принимают в себя, в свой вечный круговорот, им порожденные души»<sup>5</sup>.

Запад потерял самое ценное, что у него было, — личность. Личность растворилась, но тело ее осталось и продолжает жить. И эта жизнь дает о себе знать в биологически прочитываемой философии. Есть две метки, по которым Федотов узнает разложение гуманистической культуры. Это «Восток» и «Спорт», т. е. культ тела и выполнения аскезы тела.

Не меньшую опасность представляет для европейского человека демократизация культуры. «Демократизация культуры... носит зловещий характер»<sup>6</sup> —, писал Федотов в 1939 г. в «Современных записках». В лоне самой цивилизации с присущим ей пафосом мещанства для интеллигенции не оставалось места. Эту мысль Федотов считал принципиальной. Цивилизация превращает интеллигенцию в «спецов», в профессионалов. Корпоративная демократия исключает интеллигенцию в качестве духовной среды, обтесывающей варвара.

Настало время всеобщего удовлетворения потребностей, всеобщего счастья. Но культура не имеет к счастью никакого отношения. Ради культуры двуспальных кроватей (с шишечками) интеллигенции пришлось отказаться от достоинства и творчества. В этом смысле лозунга «больше цивилизации». Если цивилизация, — это необходимость, поток, т. е. течение жизни, то и «нужно плыть против течения. Вот и все»<sup>7</sup>. И все, что появляется в результате этого плавания, будет культурой.

Наше отношение к будущему «зависит от того, к какому стану мы примыкаем: к стану цивилизации или культуры»<sup>8</sup>. Если к стану цивилизации, то во имя народа можем пожертвовать истиной. Если к стану культуры, то не все для народа, ибо истина выше народа.

Культура — это сгустки накопленных ценностей, «та кожа, которая сдерживает в человеке зверя»<sup>9</sup>. Не проткнуть бы эту кожу, да не выпустить на волю зверя. Одним из способов «сдирания» культурного слоя стало быстрое приобщение масс к цивилизации в ее очень поверхностных слоях: техника, наука. Сама по себе наука не поверхностна. Но лишь небольшое в ней число людей занято творчеством. Остальные огромные массы живут приложением этого труда, т. е. живут вещами, к созданию которых они не приложили никаких усилий. Так появляется разрыв между людьми и средой, в которой они живут, т. е. человеческие массы оказываются не на уровне ими используемых вещей.

Умы, самые утонченные и передовые, уже возжаждали, по словам Федотова, грубости и простоты: Эта жажда утоляется спортом, техникой, политикой, цивилизацией. Развитие темы упрощения и грубости логически завершается фашизмом или коммунизмом. Это ответ на требования интеллектуалов, объяснение их тайной симпатии к тоталитарным режимам.

Русская интеллигенция, — формулирует Федотов одну из своих любимых мыслей, — должна отречься от традиций народничества и встать на «культурно-аристократический путь»<sup>10</sup>.

### «ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КАНАЛ», ИЛИ БЕСПОЧВЕННАЯ ИДЕЙНОСТЬ

Канал просвещения, построенный во времена Екатерины II\*, в середине XIX в. был заполнен разночинцами, потоком которых уносятся нестойкие дворяне. Например, Писарев. Линии культуры и интеллигенции расходятся. Русская культура развивается теперь вне зависимости от интеллигенции. Дело интеллигенции — революция. «К XX веку», — замечает Федотов, — это уже две породы людей, которые перестают понимать друг друга». Культура — органическое образование, она существует там, где для этого есть почва. Цивилизация беспочвенна. Беспочвенность уводит русскую интеллигенцию в бескультурное лоно цивилизации.

Покинув почву культуры, интеллигенция обживает мир действия, горизонты которого сошлись в слове «социализм». Ради этого слова, говорил Чернышевский, не будет жалко и 3 миллионов голов. Непонимание между людьми культуры и интеллигенцией коренится в беспочвенной идейности интеллигенции, факт существования которой требует объяснения.

...Интеллигенция узнается несложно. Если кто-то сказал «эй, шляпа», то есть много оснований для предположения о том, что речь идет об интеллигенции. Интеллигенция — это шляпа, которую общество, войдя в индустриальный век, забыло снять. «Они в шляпе, а у нас мозоли» — таков схематизм ее восприятия. На этом «шляпном уровне» понимания интеллигенцию часто путали со служащими.

Для того чтобы появилась интеллигенция, нужно было допустить осуществление двух вещей. Во-первых, превратить мир в прозрачный для ума аквариум, т. е. в нем не должно быть пропусков, темных пятен или, как говорит Федотов, небытия в перемежку с бытием. «Аквариумность» мира, или,

что то же самое, парменидовское бытие\*, — это уже полпути к интеллигенции. Вторая половина требует существования платоновской идеи\*. Вот этими двумя идеями конструируется привилегированная точка, попадая в которую можно увидеть мир как он есть на самом деле, а увидев, повести за собой невидящих.

Интеллигенция возникает в привилегированном слое «видящих истину» как предводительница. Пока в мире существует хотя бы один человек, которого ведут к истине, будет существовать и интеллигенция. В определении интеллигенции обнаруживается скрытое ее родство с партией или сектой, которая ведет за собой если не к истине, то, во всяком случае, к справедливости. Вот эта постоянная опасность растворения интеллигенции в феномене партии держится под наблюдением в концепции интеллигенции Федотова. Институт партийности делает интеллигенцию практически ненужной, да она и не возникает в партийно-оформленном обществе. Невозможна она и при живом Боге. Тайна происхождения интеллигенции в смерти Бога и волевом единстве жизненного потока. Иными словами, существование интеллигенции проблематизируется, с одной стороны, существованием идущих к Богу, а с другой — идущих к справедливости. Одних ведет церковь, других вела партия. Интеллигенции же вести за собой некого, и поэтому исторически она преодолевается в нигилизме.

Понимание интеллигенции в качестве некоего ордена распространилось со времен П. В. Анненкова и П. Д. Боборыкина. Оно разделялось С. Франком, Н. Бердяевым и Г. Федотовым. На фоне этого понимания создавалась концептуальная модель интеллигенции, совершенно нечувствительная к позитивистским поискам ее социологического ядра\*\*. Г. П. Федотов в своем эссе «Трагедия интеллигенции», а также в книге «И есть и будет» разрушает язык внешнего описания интеллигенции и использует язык ее самоописания. То есть функциональное или морфологическое «выведение» интеллигенции становится невозможным. С точки зрения Федотова, совершеннейшая нелепость сказать, что, например, интеллигент — это человек, который занимает кафедру, преподает. Нет, к интеллигенции нельзя отнести ни тех, кто преподает, ни тех, кто лечит. Из функции она невыводима.

\*\* Попытки найти пустое пространство между классами и в это пространство поместить интеллигенцию.

«Врач, инженер, поскольку они преданы своему делу, уже не интеллигенты или остаются интеллигентами в каком-то верхнем, безответственном плане сознания: на чердаке, куда сваливают всякую рухлядь. Деловитость и интеллигентность несовместимы».

Накладывается Федотовым запрет также и на то, чтобы интеллигенция мыслилась «по морфологии материала». То есть нельзя представлять дело так, что интеллигент — это субъект с каким-нибудь дипломом в кармане, или, что еще хуже, причислять к интеллигентам понравившегося нам человека. Быть умным, милым и деликатным — вовсе не обязанность людей этого круга. За всеми этими запретами стоит формирование русскими философами нового смысла старого слова. «В наши дни, — писал Федотов, — европейские языки заимствуют у нас это слово в русском его понимании, но неудачно: у них нет вещи, которая могла бы быть названа этим именем»<sup>2</sup>. Имя есть, но вещи нет, т. е. нет интеллигенции. Для того чтобы понять мысль Федотова, необходимо отказаться и от неомарксистских схем интеллигенции, восходящих к А. Грамши. Интеллигенция, попадая в пространство этих схем, неизбежно превращается в прослойку (или слой) людей, занятых производством сознания. «Продуктовое» понимание интеллигенции работает на уровне имени (слова), но не «вещи» (в смысле Федотова). Это понимание имеет еще и тот недостаток, что в его пределах всякий продукт мыслится в категориях искусственного плана, а не естественного. На этом языке можно поставить вопрос о создании новой интеллигенции и замене ею старой, о производстве человека. Как будто человек есть просто серийное изделие с малыми затратами. Правда, мир как производство мыслится в предложении какого-то божественного ремесленника, которым, как правило, оказываются самые неподходящие исторические личности. Федотов не приемлет хода мысли, ведущей к картине мира, описываемой одним словом — производство.

Его миропредставление можно сфокусировать в одном слове — национальный разум. Вообще-то нация и разум — это «существа» двух разных порядков. Разум — из онтологии универсалий, нация — из онтологии индивидуальностей. Разум космополитичен, нация почвенна. Нации существуют тысячи лет (может быть, чуть больше или чуть меньше — кто может это точно знать?), разум вечен. Ум — он везде ум, и от глупости его отличают как в Европе, так и в Америке. Чистый разум не имеет плоти, он вне времени и пространства.

т. е. как бы витает над миром, и, пока он витает, его описывают в терминах трансцендентальной философии. Ведь если бы он был отягощен «человеческой материей», то по законам этой материи мыслимое в одном месте стало бы немыслимым в другом. И разум непременно бы распался. Чтобы прояснить эту мысль, Федотов обратился к Данте, для которого интеллигенция — это «бесплотных умов естество», т. е. естество без плоти. Данте мыслит точно, и, конечно, он прав, усматривая в интеллигенции что-то ангельское. Он не отвечает за то, что ум и плоть сцепились в одно «незаконное» целое и породили кентавра, называемого русской интеллигенцией. И вот теперь его (кентавра) мысль принуждена была двигаться не только по законам мышления. Она стала вращаться по орбитам жизней мыслящих. Возникающие aberrации бессильна была описать даже спекулятивная философия\*. Среди этих «зарослей» жизни, в кустарнике объективных кажимостей возникает национальный разум. Он, как говорит Федотов, еще «дичок», которому нужна культурная прививка. Необходимость этой «прививки» заставляет Федотова присмотреться к тому, что было в Киеве тысячу лет тому назад. Он ищет там не интеллигенцию, он исследует ее корни. «...В Киеве, — пишет Федотов, — заложено зерно будущего трагического раскола в русской культуре»<sup>3</sup>. Разговор об интеллигенции получает неожиданные обертона: раскол, трагедия, культура. Кто кого расколол и что это за зерно, заколосившееся в XIX в. интеллигенцией? Это зерно — славянский язык. Все дело в том языке, на котором заговорила церковь Христа на Руси. Заговори она на латыни, и мы были бы одними, заговори она по-гречески — и мы бы стали другими. Она заговорила по-славянски, и мы стали русскими. Но в «заговоре» церкви содержалась угроза духовной лени для целого народа. Она слишком приблизила к народу монаха и книжника. Для порыва (и напряжения) к культуре не хватало элитарности, аристократизма. Русский язык не стал языком науки. Конечно, новгородская икона перевешивает искусство западного средневековья, а святость достигает на Руси невиданных прежде высот. Но Древняя Русь косноязычна, ее охватила страшная немота. Умозрению нужны не краски, а слова. Россия стоит, словно немая девочка, которая так много тайны видит своими неземными глазами и может о них поведать только знаками. Она бессловесна, а не глупа. Что нам досталось от московских столетий? И Федотов с горечью признает, что одна публицистика, отрывочный лепет младенца, сквозь ко-

торый прорывается голос единственного великого писателя Аввакума.

«Отчего же софийная Русь так чужда логоса\*?»<sup>4</sup>. У Федотова нет ответа на этот вопрос. Чуждость нужно признать как факт, не выводимый из полноты связей всего мира. В русской душе оказался изъян, «пустое место», недостаток слов. Дорогой ценой заплатила Русь за неприятие пустословия — утратой логоса. «Пустое место, зияющее в русской душе именно здесь, в «словесной», разумной ее части, должно быть заполнено чем-то»<sup>5</sup>. В этом тексте Федотова бросается в глаза слово «чем-то» в смысле «чем придется», в том числе и «чем попало».

Пустое место заполнялось импортом чужого мозга. Мы не думали, но у нас уже появились мысли. В Петровскую эпоху уже не удивляли люди, души которых были русскими, а головы — немецкими. Народ продолжал жить в одном целом, а его мыслительная субстанция складывалась по законам другого целого. Мы не выращивали свой логос, он нам достался по дешевке. Этот «штемпелеванный разум» не имел корней в глубинах иррациональной народной жизни. Напротив, он навязывался ей извне. И это все называлось «просвещением народа». Конечно, княжеский терем (или монастырь) и крестьянская изба — вещи разные. Но эта разность говорит не о разрыве, а о свете, который идет от аристократического терема к крестьянской избе. Сохраняется возможность одному подняться от другого. На этот подъем уходят сотни лет. Уже одним тем фактом, что в народной жизни есть нечто вненародное (аристократическое), как бы гарантируется органическое повышение культуры народа. «Массы, быть может, лишь к XVII веку органически в своем быту растворили и претворили идеалы жизни, приличий, нравственных понятий, которыми жили в Киеве боярские и княжеские терема»<sup>6</sup>.

Разрыв истории наложил печать не только на всю Петровскую эпоху, но и определил, по мысли Федотова, кентаврическую фигуру России на два столетия. Афина восстала против Геи\* и этим восстанием нарушила естественный ход событий. Надолго, если не навсегда, исчезла органическая связь разума и земли, т. е. та связность, при которой никто не может отсидеться в какой-нибудь тихой заводи культуры, но и никто не может сказать, что он ведет и за ним идут. «Все влекутся и все влекут». Федотов использует слова Данте, которые хорошо передают органику человеческого бытия, но метафизический смысл этих слов от Федотова все-таки ускользает.

В идее Федотова, согласно которой Петр I, прорубив окно в Европу, раскрепостил русское слово, есть один оттенок, забвение которого искажает видение истории интеллигенции. Ведь что значит утверждение Федотова о незнании Русью мысли? Не знать — это значит и не знать раздвоенности между мыслью и действием, той раздвоенности, которая изнутри разъедает тело всей европейской культуры. Конечно, и мы могли бы читать Гомера и философствовать вместе с Платоном, если бы не отрыв от классической традиции. Но разве не является для абстрактного мышления чудом и тайной конкретность, та конкретность, которую Федотов передает латинскими словами: «*Nic et nunc*», т. е. сейчас и здесь. Ведь нерасчлененное мыследействие работает на уровне не объективируемых содержаний сознаний, т. е. схватывает то, что наиболее ценно и важно для человека и что в XX в. будет понято Хайдеггером и феноменологией. Наши предки не могли точно помыслить мир вообще, но они очень хорошо понимали мир, который сейчас и здесь и с этим пониманием сострадали не человеку вообще, а «вот этому», который к ним ближе всего.

Идейность русской интеллигенции граничила с манией «стоять на вытяжку» перед второразрядным созданием ума вообще. Не Галилео Галилей, а Джордано布鲁но сидел в душе каждого русского интеллигента и ждал подходящего случая, чтобы сгореть на костре за не им открытые истины. Русский образованный человек, устремившись в погоню за идеей, оторвался от национальной культуры и стал интеллигентом. Идейность и беспочвенность составляют систему координат, в которой движется русская интеллигенция. В системе этих координат описывалась и «кривая» ее движений знаменитыми «Вехами», та кривая, которая привела к нигилизму — опасному соблазну русской интеллигенции. Федотов сам прошел значительную часть этого пути и поэтому знал истинные размеры опасности. Но его самость сохранила в укромных местах души симпатию к вождям юности. Например, Федотов и не подозревал, что нелюбимые им интернационал-социалисты уже проглядывали в безобидных теориях Михайловского о правде-истине. Рассуждениями о правде-истине и правде-справедливости создавалась своего рода «атомная бомба» радикальных социалистов, энергии которой хватило на то, чтобы разнести в клочья одну шестую часть земного шара. А заряд этой бомбы устроен примитивно: истина поставлена в соответствие со справедливостью, а справедливость оторвана от абсолюта. «Истинно, если справедливо» — этот последний

нигилистический лозунг русской интеллигенции почти совсем не затрагивается Федотовым.

Об истине, если верить Федотову, в кругах русской интеллигенции говорить было не принято. Не идея свободы вообще зажигала их сердца, а народ и свобода народа. В этом, видимо, проявилась славянская неспособность к абстрактному мышлению, вернее, русская любовь ко всяким содержаниям. Непонимание проблемы формы было продемонстрировано даже в дискуссии между Федотовым и Бердяевым, отраженной в газете «Новая Россия».

В жертву народу приносилось все. Этот воображаемый циклоп пожирал истину, добро, свободу. Служением народу бредили. А народ — это ведь крестьяне, во всяком случае в России, ибо в Европе остатки народа исчезли уже в XVI в. Значит, спасти нужно было крестьян. От кого? От самодержавия. В массе своей народ темен, еще не нашелся такой Петр, который бы расковал его слово. Этим Петром стали народники. «Народ» — наиболее любимое и магическое слово русской интеллигенции. Если «любимец» не понимает всей выгоды борьбы с деспотией, то его нужно просветить. Но просвещению мешает религия. Значит, все эти моши, просвиры и обедни нужно заменить Фогтами, Молешоттами, Дарвина и Марксом, т. е. атеизмом и материализмом.

Страшно далека была русская интеллигенция от народа, и, когда она повела его за собой, он за нею не пошел. Единственное, что она могла сделать, — это соблазнить народ. Конечно, не Марксом, а землей. Земля — это способ высвобождения энергии крестьян, накопившейся за долгие годы их отлучения от земли.

Смешно было бы видеть среди соблазнителей народа Толстого или Достоевского. Они не вмещаются в галерею портретов русской интеллигенции. Им нет места рядом с Чернышевским и Писаревым, Белинским и Бакуниным, Лавровым и Михайловским. Толстой — не интеллигент, и этим все сказано. Русская интеллигенция — это движение людей, «объединяемое идейностью своих задач и беспочвенностью, своих идей»<sup>7</sup>; Федотовская чеканная формула завершает процесс определения сути интеллигенции, начало которому положил многословный Иванов-Разумник\*.

В своем исследовании интеллигенции Федотов на полную мощь использует возможности схематизирующего мышления. В этом его сила, но в этом и его слабость. Например, для того чтобы объяснить появление Чернышевского в середине

XIX в., он делает разбег от Киевской Руси. Что может иметь смысл, если история — это логика, и, следовательно, в ней нет ничего такого, что нельзя было бы ввести предположением. История — не логический процесс, а органический, т. е. с незнаемой заранее спонтанностью. Неразличенность Федотовым этих двух обстоятельств делает его «Прологи» двусмысленными, а генетические приемы объяснения бессодержательными. Историк культуры довлеет в Федотове над философом.

В составе человека всегда найдется то, что не объяснишь его происхождением от обезьяны. Федотов объясняет, почему в России существовали Бакунины и Нечаевы, но он не знает, почему в ней существуют Лесковы и Розановы.

Интеллигенция создала не элиту, не аристократию, а секту, орден, который выступил против консервативных ценностей: государства, нации, религии. Не без иронии Федотов как-то заметил о неумении людей держать в уме более одной мысли. Но на этом неумении держались основы «демократического Пошехонья» русской интеллигенции. С одинокой мыслью в голове нельзя было справиться не только с Марксом, но даже с Бюхнером\*. «Жалкие были враги, но и перед ними не устояли»<sup>8</sup> русские интеллигенты.

Феномен однomyслия заставил Федотова в конце 40-х гг. усомниться в сугубо русском его происхождении. Но тем самым ему пришлось отказаться и от уникальности русской интеллигенции, основанием которой оно (однomyслие) являлось. «Европеизация Индии и Китая» столкнула две мощные культуры, и вновь произошло то, что происходило в XVIII в. в России<sup>9</sup>. Максимализм интеллигенции рожден примитивизмом ее мышления. Настоящие интеллигенты, как оказалось, живут не в России, а в Азии и на Ближнем Востоке. Палестинские террористы, полголовцы и «чегеваристы» — прямые наследники русской интеллигенции, беспочвенность которой приучила ее вести кочевой образ жизни. Это кочевое «перекати-поле» прикатило интеллигенцию к радикально настроенным социалистам.

Сумеет ли она после трагедии приучить себя к оседлому образу жизни, не сорвется ли вновь? Ответ на этот вопрос Федотов ставит в зависимость от почвы, на которой она может осесть. Это либо «дело», либо «органическая национальная идея». Схема оседания проста: жажда накопительства повернет народ в сторону Запада, и с этим «западным» русским народом сольется западническое сознание интеллигента. Воз-

никнет долгожданное единство народа и интеллигенции. Цена, которую придется заплатить за это единство, отрыв народа от его национальной и исторической почвы.

«Но, может быть, в этой точке рождается новая интеллигенция, с новым отрывом от народа, переменившаяся с ним ролями: народ отрывается от исторической почвы, интеллигенция хранит религиозное сознание?»<sup>10</sup>.

## ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ, ИЛИ СВОБОДА НЕДОСТОЙНЫХ СВОБОДЫ

Путем радикального упрощения интеллигентского сознания создаются сознательные пролетарии, в головы которых никак не могла поместиться огромная Россия. На пути упрощений возникает новая демократия, и место ее заседаний — Таврический дворец. Государственная дума России парадиро-вала парламент, царь играл роль президента, а вместе они то-нули в грязи пошлости и коррупции. В среде интеллигенции тоже происходили изменения. Она разлагалась. Рахметовых заменил Санин\*. Россия знакомилась со свободой.

Что бы сказала Россия, если бы вдруг кляп выпал из ее рта? Для Федотова ответ на этот вопрос связан с пониманием мистической стороны истории России. Она могла бы пожало-ваться на свое несовершеннолетие: ее конституционный воз-раст застыл на уровне 11 лет, на демократию, которая так и осталась восьмимесячной. Ей вряд ли пришелся бы по вкусу имморализм как защитников, так и противников русской идеи. Но вполне возможно, что она заговорила бы голосом В. Розанова: «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали. Миллионы лет прошло, пока моя душа выпущена была погу-лять на белый свет: вдруг бы я ей сказал: ты, душенька, не за-бывайся и гуляй по морали. Нет, я ей скажу: гуляй, душень-ка, гуляй, славненькая, гуляй, как сама знаешь. А к вечеру пойдешь к Богу, ибо жизнь моя есть день мой и он именно — мой день, а не Сократа или Спинозы».

Этими словами Розанова исчерпывается тема свободы для русского человека. Гуляй, душенька, гуляй без всяких прав и демократий, без партий и конституций, гуляй, милая, а вече-ром не забудь зайти к Богу. Но если нет Бога, а «гуляй» оста-ется и желающих погулять много? Тогда, по словам Федото-ва, начинается мучительное размежевание воли и свободы. О чём мечтает русское сердце? Нет, не о свободе, а о воле. Ведь

свобода — это из эстетики безобразного. Она синоним распущенности. А вот воля — совсем другое дело. «Воля есть прежде всего возможность жить, или пожить по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами, не только цепями... Воля торжествует или в уходе из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми<sup>1</sup>». Не свободу, а волю имел в виду М. Гершензон, когда писал о том, что стало тесно и душно в круге культуры. Стесняет вяжущая связь закона — без устали повторял Л. Шестов, щупальцами ума нашупывая тело свободы. Если европейский человек говорил «нет» и становился бунтарем, то в России бунт начинался со слов «была-не была, гуляй, душенька», и этими словами развязывалась вяжущая связь культуры. Разбойник — идеал воли, которая осуществляется скорее в кочевом быте, в цыганщине, в разгуле, чем в культурном общежитии. Тирания и бунт вольному человеку гораздо ближе, чем социальные реформы и добропорядочный консерватизм.

Для того чтобы совместно существовать, людям нужно допустить в свой круг некоторую порцию лжи, строго соблюдающей условности. Свободный человек принимает ложь как необходимость соблюдения приличий, т. е. быть с лицом. Федотов испытал это противоречие свободы в своей жизни.

Вольный человек не приемлет культуру общежития из-за ее изначальной зараженности ложью. Это неприятие лежит в основе молчания России и ее онтологического отвращения к пустословию. «У молчания есть разный язык»<sup>2</sup>. Существует молчание, звук которого хорошо слышен. Это та тишина, которая, по замечанию Федотова, перевешивает говорливых и заглушает гром оркестра истории на весах вечного бытия России. Свобода слишком многословна. Она утомляет. Между молчанием и бунтом проходит жизнь вольного человека.

Свое понимание свободы Федотов продумывал в глубинах молчания, естественной для него среде обитания. По воспоминаниям современников, чем меньше ему оставалось жить на «белом свете», тем больше он молчал. О чем же ему молчалось? Прежде всего о том, что свобода никогда не выбирается по доброй воле. Ее принимают поневоле, когда исчерпаны все аргументы «против». Свобода — это зло, с которым приходится мириться. Пока же от нее еще можно увильнуть, пока человек не загнан в угол, он не согласится на свободу и останется «мытарем» воли. Вот эта тема «согласия на свободу» звучит

у Федотова особенно ярко и четко. Развитие этой темы приводит к пониманию того, что смерть за свободу бессмысленна.

Для мира естественна нетерпимость, люди не выносят друг друга; ни одно «Я» еще не отказалось от своей «единственности», готовое к тому, чтобы разодрать в клочья другое «Я». Плетением каких же связей жизнь удерживает нас от безумия войны всех со всеми? Органических. Но органические связи, органическая жизнь рассматриваются Федотовым как нечто тоталитарное. Жизнь тоталитарна по своему глубочайшему смыслу, а не по прихоти людей. Свобода — это, конечно же, поздний и очень хрупкий цветок. В подполье всегда растут цветы зла, а насилие — естественный способ разрешения проблем общежития. Оно практично и надежно. Но свобода оказалась практичнее силы и насилия. Люди идут путями свободы, когда иным образом идти уже нельзя. Возрождение идей «практичности свободы», напомнившей о себе в эпоху экзистенциалистского ригоризма\*, обязано голосу Федотова, прозвучавшего на всю Европу и не оцененного.

Для того чтобы сохранить свое лицо, свое достоинство, человек способен на многое. Из необходимости, из неизбежного зла он сделает добродетель. «Терпимость поневоле мало радует»<sup>3</sup>. Но приходится терпеть, а значит, и обуздывать свое «Я». Свобода — это смирение, а свободный человек — это человек, «обломавший» свое «Я», которое с некоторых пор начинает существовать, как объезженная лошадь. Смирись, гордый человек, с фактом существования тобою ненавидимого в тебе самом, и ты пойдешь дорогой свободы, т. е. терпения. В условиях свободы и на дереве зла вырастают плоды добра. Свобода потому и практичнее силы, что она заставляет бессознательных людей придерживаться совести, недобродетельных людей делать добро, нетерпеливых — терпеть.

С тех пор как в России расцвел цветок свободы, русских философов стал преследовать кошмар злого добра. Тема антихриста не давала им покоя. Она появлялась в рассуждениях едва ли не каждого интеллектуала. Зачем нам добро, если оно может держаться только на правовых крючках? Что нам делать со свободой, если условием ее является соблюдение грифасы лжи? В смысловом горизонте этих вопросов Федотовым меняется традиционное новоевропейское видение свободы и возрождается дух нового средневековья. История свободы (и об этом Федотов говорит без эquivоков) начинается, конечно же, не во Франции 1789 г. Революции вообще не место для рождения свободы. В них, если что-то хорошо и получается,

то тирания. Признаки свободы узнавались Федотовым в принципах совместного существования баронов и купцов, царей и бояр, церкви и университетов, государства и церкви.

Способ организации мысли Федотовым имеет одну особенность. Его мышление не понятийно, он не любит перебрасывать мостики от одного понятия к другому и находить третье. Федотов схематичен, но все его схематизмы имеют одну и ту же онтологическую предпосылку: чудо свободы. Чудо потому, что она невозможна по законам причинных связей. Но причинно невозможен и выбор, и ответственность за выбор. В этом (экзистенциальном) смысле свобода легкомысленно принимается то за ответственность, то за выбор.

«В наше время умышленно не желают понимать значения слова «свобода» и требуют его строгого определения. Строгое определение свободы встречает большие философские трудности, а отсюда заключают с поспешным торжеством о пустоте и бессодержательности самой идеи. Как будто бы легко определить «любовь», или «родину», или даже «нацию». И будто бы нужно сперва найти определение нации или отечества, чтобы умереть за них. Еще не совсем сошло в могилу то поколение, которое умело умирать за свободу как за величайшую святыню, не спрашивая ее философских определений»<sup>4</sup>. Определить свободу нельзя по фактическим соображениям. О свободе молчат. Бессмысленно потребовать определения свободы, чтобы потом пойти и умереть за нее. Федотова насторожил уже Февраль с его пафосом определения свободы. За определяемое не умирают. Свобода по существу своему ревнива и кровожадна, ибо она существует, пока очень хотят, чтобы она была. Проделки Антихриста усматривает Федотов не в том, что отмирает пафос свободы, пропадает желание, а в ритуале свободы. То есть когда пафос исчезает, а ритуал остается и монотонно исполняется. Проблема, следовательно, состоит не в том, чтобы определить свободу конечным набором слов. Проблема в другом: как узнать, за что умирают люди, когда они умирают за свободу? «Оклеветанный феодализм» и здесь дает ответ, о котором Федотов не уставал рассказывать. Свобода — это привилегия, она рождается как привилегия немногих. За нее, видимо, люди и умирают. Эта формула свободы лежит в основе всех историко-культурных и философских сочинений Федотова. И поэтому она требует разъяснений.

Федотов менее всего склонен к манихейству, т. е. к признанию двух субстанций: темной и светлой, доброй и злой.

Привилегии делят людей на две части: тех, у кого они есть, и тех, у кого их нет. Свобода существует до тех пор, пока существует зазор между двумя крайними точками: единицами ее имеющих и множеством неимущих. Ведь смысл свободы в пафосе свободы. Когда же привилегия немногих становится привилегией всех, свобода умирает, превращаясь во всеобщую норму. Плюрализм власти и абсолютный характер духовных норм составляют, по Федотову, условия свободы.

Для Федотова особенно интересны XVII—XVIII вв. европейской истории, ибо в это время произошел сдвиг цивилизации в сторону иных оснований свободы. Свободу веры сменила свобода мысли, феодальный плюрализм властей сменился либеральной концепцией государства. Основанием свободы стала свобода предпринимателя. В результате этого сдвига произошла релятивизация духовных норм. Они теряют свою абсолютность, личность (душа) становится разменной монетой, ее приносят в жертву для народа, государства и партии. «Если единственное основание нашей свободы — буржуазная свобода хозяйства и научная свобода исследования, то они вместе с политическими исследованиями, из них вытекающими, вряд ли способны пережить этот кризис. Тогда это не помрачение свободы, а ее смерть»<sup>5</sup>.

Помрачение свободы узнается по судьбе свободы мысли. Свободная мысль — это мысль по найму, т. е. наемная мысль. Главное для ученого — получить заказ. «Это показывает, что ученый сам перестал уважать науку»<sup>6</sup>. Но перестали уважать и ученых. Их взгляды и убеждения никому не интересны. Когда-то пуританин, православный, гугенот или католик умирали за свою веру. Современный ученый не собирается умирать за науку. Если в мире исчезнет «и память о Боге, и способность узнавать Его под человеческими именами, тогда никто не будет бороться за свободу. Тогда свобода погибнет»<sup>7</sup>.

### «БЛУДНЫЙ СЫН ХРИСТИАНСТВА»

По Федотову, Кремль, заполненный большевиками, один из возможных способов преодоления интеллигенции. С ней произойдет странная метаморфоза. Многие интеллигенты найдут свою почву в новом мещанстве, в накоплении, в пафосе американства. Рынок, собственность и капитал — вот новые предельные точки их самосознания.

Западничество становится народным, отрыв от национальной почвы — национальным фактом. Рост буржуазного со-

знания на том пустыре, где когда-то стояла русская интеллигенция, делает мыслимым и заигрывание социализма с христианством. Интеллигенция — это исторически неудачное слово для обозначения категории работников умственного труда в буржуазном обществе.

«Социализм есть блудный сын христианства, ныне возвращающийся... в дом отчий»<sup>1</sup>. По Федотову, для сближения идей социализма и Христа достаточно того, что они существуют внутри возможностей исторического сознания, т. е. сознания, допускающего обновление мира. Проблема состоит в том, что идея социализма не нуждается в Христе. Ведь христианская история — это эсхатологическая история, т. е. история, которая когда-то закончится. Конец истории — вне истории, т. е. нет времени конца. Федотовское понимание этой проблемы изложено в работе «Эсхатология и культура», в которой описывается противоречивость эсхатологического сознания.

Если Бог вмешается в земные дела и своим вмешательством разрубит узел дурной бесконечности, то это будет означать, что вся история мира заранее была обречена «на тупик, на неудачу»<sup>2</sup>. И социализм как идея обновления мира становится сразу же бессмысленным. Стоит ли вообще что-либо делать, если вне зависимости от нашего делания с небес спустился Град и в него войдут немногие. Первохристианское, апокалиптическое сознание требует реформации. В свою очередь, идея социализма предполагает независимость ее осуществления от трансцендентных сил. Социализм — дело сугубо человеческое, и делается это дело до скончания мира, т. е. до того, как Бог вспомнит о нас.

Федотов сближает дело Бога и дело человека в одно богочеловеческое дело, срединный путь которого ведет к Новому Граду. На этом пути находится место и социализму, т. е. обновлению общества, дополняющему обновление личности.

По мысли Федотова, христианский социализм, Новый Град, не приходит вне зависимости от человеческих усилий. Но эти усилия направлены на пересмотр относительных ценностей. Для христианского социалиста нет различия между новыми и старыми принципами устройства общества. Есть вечные ценности и относительные. Федотов отмечал какую-то болезненную страсть русских интеллигентов к перемене вечных истин и небрежение к относительным. У защитников народа не нашлось ни одного слова в защиту хозяйства и личной инициативы. Идея социализма ставила в тупик левых

христиан своим обещанием преодолеть капитализм. Даже Федотов незадолго до смерти продолжал считать, что «в настоящее время основная социальная проблема, общая всему европейскому кругу, состоит в преодолении капитализма, уже отказавшегося работать, и в переходе к управляемому или социалистическому хозяйству»<sup>3</sup>. Презрение к хозяйству объединяло пролетариев и интеллигентов в симпатии к социализму. Любовь к социализму — есть превращенная форма нелюбви к хозяйству.

Федотов — социалист и интеллигент в русском смысле этого слова. Правда, он каялся и по мере раскаяния становился христианским социалистом, но смысл хозяйства не стал от этого ему понятнее. «Философия хозяйства» С. Булгакова по-прежнему находилась выше уровня понимания социалистов.

Христианский социализм Федотова — это путь примирения народа и интеллигенции, плод их взаимного сближения, который, к сожалению, так и не обрел корней ни в народе, ни в интеллигенции. Христианский социализм разрывался не только эсхатологическим сознанием. Попытки Федотова преодолеть этот разрыв в формуле, объединяющей то, что объединить нельзя, вряд ли можно считать успешными.

«Живи так, — писал он, — как если бы ты должен был умереть сегодня и одновременно так, как если бы ты был бессмертен»<sup>4</sup>. Эта максима многое говорит Федотову, но она ничего не говорит современному сознанию, которое все уже знает заранее. Современный человек ничего нового не ждет. Его сознание ориентировано на предвидение, и в этом смысле оно производно от науки. Для эсхатологического сознания Федотова важно не предвидеть, а ожидать. Предвидеть можно лишь тогда, когда нет вовлеченности мысли в поток событий и, следовательно, нет опасности того, что последствия этой мысли могут вернуться в виде событий, исключающих жизнь мыслящего. А если мы уже вовлечены, то нельзя предвидеть, можно лишь ожидать. Федотов был ангажирован событиями истории, возвращающейся от несбывшегося к бывшему в силу одной лишь своей полноты. Например, Федотов рассказывает о том, что будет происходить в России после падения коммунистического режима, и этот его рассказ сбывается. Федотов не предвидел распада империи, а ожидал его.

Христианство, по мысли Федотова, обязано повернуть глаза человека не только к его личному спасению, но и к социальному обновлению. Как христианин должен отнестись к революции? К политической положительно, ибо это, согласно

Федотову, смена власти. К экономической — отрицательно, ибо она нарушает органические связи. Вот этим различием Федотов попытался избежать ловушки для мысли.

Идеал христиански приемлемого социализма связан у Федотова с идеей социальной демократии. Ему ближе трудовое общество, чем потребительское. Вместо классового общества он предрекает появление общества с синдикальным (профессиональным) строем.

«Как осуществить даровое потребление... Это, по словам Федотова, — самый трудный вопрос современного социализма», главный признак которого он видел во внерыночных отношениях. То есть проблема состоит даже не в том, чтобы «даром производить», а в том, чтобы научиться «даром потреблять». Вот это «даровое потребление», или развращение масс, и является главной опасностью корпоративного социализма Федотова. Цивилизационный сдвиг осуществляется в смене профессий. Следовательно, не классы, а профессии и борьба между ними ожидают нас в горизонте обозримого будущего. Равных профессий не существует, и в этом смысле корпоративный социализм предполагает философию неравенства, которая, не принимая буржуазный индивидуализм и социалистический этатизм\*, приведет к христианскому социализму. А христианский социализм — это ведь православный социализм, который не приемлет протестантский дух капитализма.

## ПРИМЕЧАНИЯ

### Введение

<sup>1</sup> Иваск Ю. Молчание. — Опыты № 1. — Нью-Йорк, 1953. — С. 151.  
<sup>2</sup> Федотов Г. П. Россия и свобода. — Paris, 1981. — С. 86.  
<sup>3</sup> Иваск Ю. Молчание. — С. 152.

### Царское Село, или Распад души

<sup>1</sup> Федотов Г. П. Россия, Европа и мы. — Paris, 1973. — С. 65.  
<sup>2</sup> Федотов Г. П. Тяжба о России. — Paris, 1982. — С. 316.  
<sup>3</sup> Федотов Г. П. Россия, Европа и мы. — С. 65.  
<sup>4</sup> Там же.  
<sup>5</sup> Федотов Г. П. Лицо России. — Paris, 1967. — С. 206.  
<sup>6</sup> Федотов Г. П. Новый Град. — Нью-Йорк, 1952. — С. 363.  
<sup>7</sup> Там же. — С. 352.  
<sup>8</sup> Федотов Г. П. Восстание масс и свобода//Новая Россия. — 1937. — № 19. — С. 4.  
<sup>9</sup> Там же. — С. 5.  
<sup>10</sup> Федотов Г. П. Новый Град. — С. 353.  
<sup>11</sup> Там же.  
<sup>12</sup> Федотов Г. П. Восстание масс и свобода//Новая Россия. — 1937. — № 19. — С. 8.

### Арбат, или Имитация гуманизма

<sup>1</sup> Федотов Г. П. Тяжба о России. — С. 316.  
<sup>2</sup> Федотов Г. П. Восстание масс и свобода//Новая Россия. — 1937. — № 19. — С. 8.  
<sup>3</sup> Федотов Г. П. Новый Град. — С. 206.  
<sup>4</sup> Федотов Г. П. Россия и свобода. — С. 94.

<sup>5</sup> Федотов Г. П. Россия и свобода. — С. 225.  
<sup>6</sup> Там же.  
<sup>7</sup> Там же. — С. 113.  
<sup>8</sup> Там же. — С. 118.  
<sup>9</sup> Федотов Г. П. Тяжба о России. — С. 88.  
<sup>10</sup> Там же. — С. 134.

### «Екатерининский канал», или Беспочвенная идейность

<sup>1</sup> Федотов Г. П. Россия и свобода. — С. 57.  
<sup>2</sup> Федотов Г. П. Новый Град. — С. 10.  
<sup>3</sup> Там же. — С. 19.  
<sup>4</sup> Там же. — С. 24.  
<sup>5</sup> Там же. — С. 25.  
<sup>6</sup> Там же. — С. 19.  
<sup>7</sup> Там же. — С. 17.  
<sup>8</sup> Федотов Г. П. Россия, Европа и мы. — С. 12.  
<sup>9</sup> Там же. — С. 186.  
<sup>10</sup> Федотов Г. П. Россия и свобода. — С. 60.

### Таврический дворец, или Свобода недостойных свободы

<sup>1</sup> Федотов Г. П. Россия и свобода. — С. 183.  
<sup>2</sup> Федотов Г. П. Тяжба о России. — С. 308.  
<sup>3</sup> Там же. — С. 224.  
<sup>4</sup> Федотов Г. П. Христианин в революции. — Париж, 1957. — С. 35.  
<sup>5</sup> Там же.  
<sup>6</sup> Федотов Г. П. Новый Град. — С. 137.  
<sup>7</sup> Там же. — С. 172.

### «Блудный сын христианства»

<sup>1</sup> Федотов Г. П. Христианин в революции. — С. 125.  
<sup>2</sup> Федотов Г. П. Россия и свобода. — С. 237.  
<sup>3</sup> Новый Град. — 1938. [Париж]. — № 13. — С. 48.  
<sup>4</sup> Там же. — С. 46.  
<sup>5</sup> Там же. — С. 71.

Здесь мы публикуем фрагменты из книги Г. П. Федотова «*И есть и будет. Размышления о России и революции*», изданной в 1932 г. в Париже, а также из его статьи под названием «*В защиту этики*», опубликованной в 1939 г. в журнале «*Путь*», а затем переизданной в сборнике «*Новый Град*» (Нью-Йорк, 1952).

Фрагмент книги посвящен разбору вопроса о судьбе русской интеллигенции, истоках ее возникновения. Основные темы фрагмента: русская интеллигенция и власть, выяснение причин, толкнувших интеллигенцию на путь политической борьбы с царизмом.

Статья «*В защиту этики*» начинается с разбора, казалось бы, невинного факта: в театрах России перестали играть Ибсена. Этот факт говорит об открывшемся перед людьми пути к имморализму, т. е. к такому устройству мира, в котором «спрос» на мораль падает до нулевой отметки. Федотов подводит нас к мысли, что гибель морали, или катастрофа души, является главным событием XX в. Он различает здесь нравственный поступок и социальное действие, аскетику\* и мораль.

Г. П. ФЕДОТОВ

И ЕСТЬ И БУДЕТ.  
РАЗМЫШЛЕНИЯ О РОССИИ  
И РЕВОЛЮЦИИ  
ПАРИЖ, 1932

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Кому должна достаться власть, выпадающая из слабых дворянских и чиновничьих рук? Такова проблема, поставленная перед Россией конца XIX века — самая серьезная из ее политических проблем. За судорогами революционных и реакционных спазмов вырисовывается все тот же вопрос: где класс, который вольет новую кровь в дряхлеющий государственный организм, вдохнет в него волю к творчеству, к жизни и победе? Объективно интеллигенция предъявила свои права на власть, боролась за нее более полувека и потерпела пора-

жение в 1917 году. Я говорю: объективно, потому что в сознании своем интеллигенция боялась власти, презирала ее и — в странной непоследовательности — мечтала о власти для народа. Во власти интеллигенции всегда чуялось нечто грязное и грешное. Она была сурова ко всем ярким выразителям государственной идеи в истории. В политику она вкладывала моральный пафос, видя в ней необходимую форму реализации справедливости. Да и в политике ее пленила, скорее, сама борьба, а не реализация, — жертва, а не победа. И все же: интеллигенция была охвачена политической страстью, имеем право сказать — политическим безумием. Кто борется, рискует победить. Интеллигенция не могла не считаться с возможностью своей победы, но победа в политической борьбе есть власть. Интеллигенция шла к власти и лишь обманывала себя призрачной властью народа. Чем реальнее рисовалась грядущая революция, тем неизбежнее было для интеллигенции пересаживаться со старого анархического коня семидесятых годов в седло западно-европейской демократии, лишь скрашенное социалистическим флером. Но демократия есть представительство. Именем и голосом мужика и рабочего адвокат, профессор и журналист будут править Россией. Это стало ясно в 1906 году, когда интеллигенция уже наметила свое «общественное» правительство. Отныне исход революции и вместе с ним судьба России определяются степенью способности интеллигенции к власти.

В другом месте\* мы пытались судить интеллигенцию, как идеологическую группу, усматривая ее Ахиллесову пяту (и даже ее конститутивный признак) в беспочвенности ее идеализма. Не трудно видеть, что эти качества были предопределены самим рождением ее в Петровской революции. В течение столетий ее функцией было несение в Россию — в народ — готовой западной культуры, всегда в кричащем противоречии с хранимыми в народе переживаниями древнерусской и византийской культуры. Отрыв от почвы был своего рода заданием Петра. В этом отрыве интеллигенция более века шла с монархией, пока не обратила против нее жала своей критики.

Сейчас нас интересует, однако, лишь та интеллигенция, те ее течения, особенно влиятельные, которые вели борьбу с властью — и, следовательно, предъявляли права на власть.

\* Богданов Е. Трагедия интеллигенции//Сборник «Версты». — № 2. — Париж, 1927.

«Правые» течения поддерживали монархию и ее исторические опоры: дворянство, бюрократию, пытаясь или оправдать существующее или возродить его огнем идеи. «Левые» таранили власть более полувека, в самых сильных своих партиях и общественных движениях ставили революцию своей целью и, следовательно, несут или, по крайней мере, разделяют ответственность за нее.

Каковы были причины господствующего революционного настроения интеллигенции? Отрешимся от ее собственных схем, субъективно окрашенных. С ее точки зрения, движущим стимулом были невыносимые страдания народных масс. Страдания масс, на костях которых строится культура, остаются наиболее устойчивым явлением в истории. Но лишь изредка, при особых обстоятельствах они ощущаются, как трагическое бедствие. Сравнительно с Англией половины 19 века, Россия, только что освобожденная от крепостного рабства, казалась страной социального благополучия. На этом относительном благополучии крестьянства, без всякого лицемерия, славянофилы могли строить свою веру в крепость русского социального быта. Но и славянофилы задыхались в Николаевской России. Где же корень трагического расхождения между исторической властью России и ее интеллигенцией?

По нашему убеждению, этот корень — в измене монархии своему просветительному призванию. С последних дней Екатерины монархия находится в состоянии хронического испуга. Французская революция и развитие Европы держат ее в тревоге, не обоснованной в событиях русской жизни. Обскурантизм власти — это ее форма западничества, — тень Меттерниха, которая, упав на Россию, превращала ее в славянскую Австрию. Благодаря Петровской традиции и отсутствию революционных классов, для русской монархии было вполне возможно сохранить в своих руках организацию культуры. Впав в неизлечимую болезнь мракобесия, монархия не только подрывала технические силы России, губя мощь ее армий, но и создала мучительный разрыв с тем классом, для которого культура — нравственный закон и материальное условие жизни. Красные чернила Николаевской цензуры, по определению Некрасова, были кровью писателя. Этой крови интеллигенция не имела права простить.

XIX век — время величайшего расцвета новой русской культуры. Бытие народов и государств оправдывается только творимой ими культурой. Русская культура оправдывала империю Российскую. Пушкин, Толстой, Достоевский были

венценоцами русского народа. Правительство маленьких Александров и Николаев дерзнуло вступить в трусливую, мелкую войну с великой культурой, возглавляемой исполнителями духа. Интеллигенция, еще чуждая политических интересов и страстей, воспитывалась десятилетиями в священной обороне русского слова. Борьба за слово и, следовательно, за совесть, за высшие права духа была той правой метафизической почвой, которая вливала силы в новые и новые поколения поверженных политических бойцов.

Вступление интеллигенции на политический путь вызывалось, помимо духовного разрыва с властью (что само по себе недостаточно), самым вырождением дворянской и бюрократической политики. В интеллигенции говорила праведная тревога за Россию и праведное чувство ответственности. Но вся политическая деятельность интеллигенции была сплошной трагедией.

Она вышла на политический путь из дворянских усадеб и иерейских домов — без всякого политического опыта, без всякой связи с государственным делом и даже с русской действительностью. Привыкнув дышать разреженным воздухом идей, она с ужасом и отвращением взирала на мир действительности. Он казался ей то пошлым, то жутким; устав смеяться над ним и обличать его, она хотела разрушить его — с корнем, без пощады, с той прямолинейностью, которая почиталась долгом совести в царстве отвлеченной мысли. Отсюда пресловутый максимализм ее программ, радикализм — тактики. Всякая «постепеновщина» отмечалась, как недостойный моральный компромисс. Ибо самое отношение интеллигенции к политике было не политическим отношением, а бессознательно религиозным. Благодаря отрыву от исторической Церкви и коренного русла народной жизни, религиозность эта не могла не быть сектантской. Так называемая политическая деятельность интеллигенции зачастую была, по существу, сектантской борьбой с царством зверя-государства — борьбой, где мученичество было само по себе завидной целью. Очевидно, у этих людей не могло найтись никакого общего языка с властью, и никакие уступки власти уже не могли бы насытить апокалиптической жажды. В этом была заколдованность круга.

Правда, остается еще умеренный либерализм, как возможный контрагент переговоров. Но либеральные течения никогда не были особенно влиятельны в русской жизни. За ними не стояло силы героического подвижничества, не стояло

и спокойной поддержки общественных классов. Самое содержание их идеалов представляло зачастую лишь остывшую форму революционной лавы. Русский либерализм долго пытался не столько силами русской жизни, сколько впечатлениями заграничных поездок, поверхностным восторгом перед чудесами европейской цивилизации, при полном неумении связать свой просветительный идеал с движущими силами русской жизни. Только монархия могла бы, если бы хотела, осуществлять либеральные реформы в России. Но монархия не хотела, а у барина-либерала не было общего языка даже с московским купцом, не говоря уже о его собственных крепостных. В условиях русской жизни (окостенение монархии) либерализм превращался в силу разрушительную и невольно работал для дела революции.

Западническое содержание идеалов, как левой, так и либеральной общественности, при хронической борьбе с государственной властью, приводило к болезни антинационализма. Все, что было связано с государственной мощью России, с ее героическим преданием, с ее мировыми или имперскими задачами, было взято под подозрение, разлагалось ядом скептицизма. За правительством и монархией, объектом ненависти становилась уже сама Россия: русское государство, русская нация. Русский революционизм и даже русский либерализм принимал пораженческий характер, ярко сказавшийся в японскую войну. Это анти-национальное направление, если не всей, то влиятельной интеллигенции, делало невозможным для патриотических кругов дворянства (и армии) примирение с нею, признание относительной правды ее идей.

Перед интеллигенцией ставилась задача: пробиться из осажденной крепости самодержавия — в народ. Найти в крестьянских и рабочих массах, тоже страдающих от чиновниччьего произвола, сообщников в своей борьбе. Но тут она встретилась с тяжелым, непреодолимым недоверием к ней со стороны массы, которое сопровождает все трагические попытки интеллигентского исхода «в народ». Это недоверие лишь видимо зарубцевалось в революцию 1905 года и снова в 1917 году разверзло между народом и интеллигенцией пропасть, похоронившую не только царскую власть, но и демократическую революцию.

Как объяснить это вечное недоверие народа к интеллигенции? Для понимания его необходимо остановиться на одной особенности образования интеллигенции в России. Углубившись в нее, мы вместе с тем дорисуем наш портрет интелли-

генции — уже не только, как носительницы известных идей, но и как общественного слоя с его бытовыми чертами, обретавшими его, не менее самих идей, на политическое бессилие.

\* \* \*

Есть коренное отличие в истории образования интеллигенции, в широком смысле, на Западе и в России. Различие это сводится к тому, что европейская интеллигенция нового времени была одним из слоев третьего сословия, питалась соками городской буржуазии, воспитывалась в ее дисциплине, защищала ее право. У нас питомником интеллигенции было дворянство. С приходом разночинцев, гегемония дворянства не сразу пала. Поразительно, до какой степени даже революционные партии блещут дворянскими именами — до самого конца: Герцен, Бакунин, кн. Кропоткин, Лавров, Плеханов, Ульянов. Мы видим: это не перебежчики, а вожди. Дворянский слой непропорционально велик и среди квалифицированной интеллигенции, в науке, литературе, искусстве.

Главным проводником дворянских влияний, настоящей машиной для переливки в дворянские формы демократической России была школа.

Средняя и высшая школа создана у нас государством для надобностей дворянства и для образования бюрократии. Такой характер она сохранила до самого конца. Неудача профессиональных и коммерческих школ всего лучше свидетельствует об этом. Процент дворян в средней школе и в университете был невелик; русская школа чрезвычайно демократична по своему составу. Но какие-нибудь десять процентов дворян определяли характер школы, характер всего образованного класса. Дворянин, выходя из университета, даже живя революционными идеями, в общественном отношении оставался членом своего класса. Для «кухаркиных» и даже купеческих детей образование означало разрыв с семьей, с классом, с целой культурой. Дети пролетариев получали у нас дворянское воспитание, какое в Европе выпадает на долю привилегированной элиты. Классические языки составляют, как известно, главный ингредиент аристократического образования — строго охраняемые ворота в мире утонченной культуры. У нас ворота эти не вели никуда, стояли просто на телячьем выгоне, в виде непонятной классической руины. «Кухаркины дети» жили —

или должны были жить — в мире греческой мифологии, подобно меценатам пушкинской эпохи. Все мы знаем, что наша школа воспитывала в лености и барстве. Виной тому не одна ее программа и педагогические методы. Дворянин приносил с собою лень, как наследственную привилегию. Разночинец разлагался в школе, потому что семья его была, в сущности, ей враждебна, не понимала ее смысла, могла пороть лентяя за единицы, но не могла приучить его к умственному труду.

Не давая навыков к умственному труду, школа убивала в разночинце вкус к труду физическому. Крестьянская девушка, попадая в уездную или сельскую гимназию, учились бречать на фортепьянах, но стыдилась помогать матери по хозяйству. Мыть полы, даже стряпать на кухне для барышни величайший позор. Дворянское презрение к черному труду русский интеллигент умел привить даже людям, которые не успели еще отмыть своих трудовых рук. Дворник и лавочник с величайшим трудом и жертвами тащили своих Ванек сквозь мытарства классической, в худшем случае, реальной школы и не желали отдавать их в ремесленные училища. Если мальчишка проявлял клиническую гносию, изгнанный из двух, трех заведений, он все еще мог попасть в юнкерское училище и, в конце концов, выйти в люди околоточным надзирателем или помощником начальника тюрьмы. Белые руки были знаком благородства и культуры. Что удивительного, если господами и белоручками народ считал своих непривычных учителей?

Физическая беспомощность влечет за собой физическое бессилие. Интеллигент презирал спорт так же, как и труд, и не мог защитить себя от физического оскорбления. Ненавидя войну и казарму, как школу войны, он стремился обойти или сократить единственную для себя возможность приобрести физическую квалификацию — на военной службе. Лишь офицерство получало иную школу, и потому лишь одно оно оказалось способным вооруженной рукой защищать свой национальный идеал в эпоху гражданской войны. Масса российской интеллигенции тучнела или тощала в четырех стенах кабинетов — обреченный на заклание, убойный скот революции.

Еще более опасным, чем презрение к черному труду, было презрение к хозяйству. И это черта чисто дворянская. Дворянство видело в своих вотчинах чистую обузу; из разорительных опытов рационального хозяйства выносило лишь отвращение к этому грязному делу. Земля, отданная в аренду

или управляемая заведомыми ворами-приказчиками, не могла быть источником хозяйственной этики. Промышленность, торговля были уделом черной кости. В торговле дворянство всегда чуяло нечто низкое. И это аристократическое презрение рантье к купцу разорившемуся дворянство сумело влить с молоком матери в своих блудных детей. Повальный социализм русской, по началу дворянской интеллигенции в значительной мере классового происхождения, наряду с княжеским анархизмом Кропоткина и Толстого. Против социалистической критики в русском сознании не нашлось ни одной нравственной или бытовой реакции в защиту свободного хозяйства. Крестьянство, неустанно, путем величайшего напряжения, вырабатывавшее из своих недр трудовую буржуазию, никогда не могло бы понять интеллигентского отрицания хозяйства. Для него социальная проблема сводилась к изъятию земли из нехозяйственных барских рук. В непонимании смысла хозяйства дворянская интеллигенция сходилась с пролетариатом, да разве еще с выбитыми с земли бродячими элементами крестьянского мира.

Интеллигенция не имела классов, на которые могла бы опереться. Не заметив растущей буржуазии, она не пустила корней и в народных массах. Ведя борьбу с дворянством, она разделяла его слабости, его предрассудки. Она могла бы завладеть государством, став над классами. В России внеклассовая государственность вовсе не утопия. Но для этого нужно было уважать государство, иметь вкус к власти. Если бы огромная численно русская интеллигенция в эпоху разложения сословно чиновничьего строя объединилась на определенном завоевании государственной власти, это предприятие не было бы безнадежным: слишком слабы были руки, державшие власть. В странах революционного Востока — Турции, Китае, в России XVIII века возможна диктатура интеллигенции, кующей национальное сознание. Там смысл диктатуры — проповедание, а упрощенность просвещения допускает широкие национальные партии. Русская политически-активная интеллигенция XIX века жила в сектантском подполье. Дробление интеллигенции приводило к дробности политических партий, большинство которых при этом боялось политической ответственности.

В этом трагическом тупике оставалась еще одна возможность: захват власти какой-либо интеллигентской сектой. В семидесятые годы некоторые воинствующие секты изъявили притязание на власть. Но в то время охранительные си-

лы страны еще не иссякли. Позже, либерально-демократическое содержание политических идеалов делало самую идею диктатуры неприемлемой для интеллигенции. Ее сектантская строгость и идейный динамизм постепенно выветривались. Из сектантских течений после 1905 года сохранился лишь большевизм. Он же оказался единственной сектой, стремящейся к государственной диктатуре. Вот почему нелюбимый интеллигенцией и ненавидящий ее, большевизм один имел некоторые шансы. Но его диктатура означала гибель интеллигенции.

Г. П. ФЕДОТОВ

## В ЗАЩИТУ ЭТИКИ\* «НОВЫЙ ГРАД» — НЬЮ-ЙОРК, 1952

2.

...Говоря об имморализме, мы, конечно, имеем в виду не открытое и вызывающее восстание на добро, которое чаще всего бывает позой или формой «переоценки ценностей». Декадентское заигрывание со злом —

И Господа и дьявола  
Равно прославил я,

очень скоро выдохлось. Что осталось, это — известная сно-  
бистская брезгливость по отношению к морали, как к ни-  
зшей, вульгарной особе, которой нечего делать на вершинах  
духа в царстве религии и которая не может и равняться со  
своей небесной сестрой — красотой. Мораль считалась — и  
считается — делом нужным, социально полезным, но пре-  
сным, скучным и не имеющим ничего общего со спасением  
(теперь принято говорить с «обожжением»). Чтобы оправдать  
такое презрительное отношение к морали, ее начали тракто-  
вать исключительно, как законническую мораль, т. е. как  
требование общезначимых норм. Не трудно убедиться, что  
закон не спасает, что благодать начинается там, где закон,  
как видел уже ап. Павел, показал свое бессилие. Самодовле-  
ющая мораль (стоицизм) таит в себе, несомненно, религиоз-  
ные опасности: духовной черствости, непроницаемости для  
лучей благодати, — не говоря уже о гордости, присущей  
обыкновенно типично моральному сознанию. Если же есть в  
нравственной жизни (а это трудно отрицать) нечто высшее,  
что не укладывается в категории законнической морали, ну —  
тогда это высшее может быть истолковано в терминах эстетики:  
как душевная или духовная красота. С этой точки зрения,  
нравственная жизнь человека может быть уподоблена работе

\* В настоящей статье слова «мораль», «нравственность», «этика» употребляются в одном и том же смысле.

художника над своим материалом. Из глыбы природного камня человек постепенно, в течение целой жизни, высекает идеальный образ, соответствующий замыслу Творца о нем — своему первообразу. Здесь универсальная эстетизация Оскара Уайльда и его поколения перекликается с теориями древней аскетики, для того, чтобы общими усилиями вытеснить мораль из незаконно занимаемого ею места: в течение тысячи летий. Как-то так случилось, что христианские тысячелетия (за исключением мистиков) проглядели это небесное значение красоты, сосредоточив все свое внимание на морали. Религия и мораль почти не различались: вспомним словосочетание «религиозно-нравственный» во всех проповедях и брошюрах XIX века! Это неразличение, конечно, дело прискорбное, как прискорбно и тысячелетнее игнорирование красоты — по крайней мере, в доктрине, если не в жизни Церкви. Но действительно ли необходимо отпраздновать интронизацию красоты позорным изгнанием ее сестры? И если христианские тысячелетия были слепы, то как же быть с Евангелием? Не составляет ли нравственное учение девять десятых этой книги? Впрочем, говоря об Евангелии, чувствуешь, что совершаешь недопустимую бес tactность. С тех пор, как Толстой принялся толковать Евангелие, ссылаясь на него стало признаком дурного тона. Мы все знаем теперь, что в Евангелии важны события земной жизни Христа с их мистическим смыслом для жизни Церкви, а не заполняющие промежутки между ними притчи и «логии», от Рождества — к Крещению, от Крещения к Преображению — Евангелие заполняет круг церковного праздничного года. Останавливаться на Нагорной проповеди можно предоставить сектантам. Действительно, потускнение Евангелия есть одно из самых поразительных явлений нашего религиозного возрождения, и оно, несомненно, стоит в связи с развенчанием морали.

### 3.

Не евреи, а эллины установили впервые структуру идеального мира, распознав в нем три царства: истины, добра, красоты. Окончательно эти сферы установились в новой философии. Они не имеют опоры в Священном Писании, ни в предании Церкви, и поэтому не защищены от всевозможных революций, аннексий и пределов своих рубежей. Было время, когда нам казалось, что троичность этой иерархии идеального мира — произвольна. Почему должно быть три царства, а не четыре, не пять, или не два? Попытки пересмотреть границы

делаются нередко. Аннексия добра красотой есть одна из них, характерная для сегодняшнего (точнее, вчерашнего) дня. Но — еще недавно мы видели попытки низвержения истины с переводом ее на демократический режим экономии, полезности, прагматизма. Опыт показывает, что эти попытки к добру не ведут. Они начинают смутное время в царстве ценностей, из которого нет другого выхода, кроме возвращения к тройственной державе. Что это, простая фактическая данность: три сферы, два континента, девять (или десять) планет? Или отражение в мире божественных идей, в прообразах тварного Пресвятой Троицы? Для христианина естественнее утверждать последнее, вместе с признанием софийного откровения божественного мира, данного язычникам. Но это признание влечет за собой отказ от попыток гражданской войны в царстве ангелов. Когда на небесах стреляют мильтоновские пушки, на земле человечество сходит с ума. Где-то развенчали мораль, а на земле миллионы людей гниют в лагерях смерти. Еще один выстрел на небесах, и здесь станут сажать на кол.

Вместо того, чтобы ссорить ангелов и ломать межевые столбы на небесах, лучше направить свои усилия на изучение карты небесного мира. И вот тут-то оказывается, что три верховные царства совершенно несводимы друг к другу. Не только потому, что они показывают разные содержания, или что они в разных планах — это не исключало бы параллелизма между ними и, следовательно, возможности выражать ценности одного порядка в ценностях другого. Нет, самая структура этих царств, их формальный строй разнороден, и никакого параллелизма между ними не существует. Познание, художественное творчество, нравственный акт качественно не сравнимы, не сходны, хотя укоренены в одной божественной природе. Можно было бы сказать, что три царства имеют каждое свои ипостасные свойства (может быть, и это по образу иных Ипостасей). Изучение этих ипостасных свойств составляет задачу философии ценностей: этики, эстетики, теории познания.

Надо приветствовать появление в русской литературе книг по философии этики, как симптома спасительного поворота. Русская мысль уже возвращается к своей великой традиции. Многое остается еще продумать. Главное, конечно, — для нашего времени, представить этику не в системе философии, а в системе богословия. Тут лежат, действительно, новые для нас проблемы. Лишь на одну из них решаемся намекнуть в этой краткой статье.

Что составляет ипостасное свойство нравственного мира? Чем он отличается абсолютно от мира познания и творчества (художественного)?

Есть много систем или сфер этики, и о них недавно с большой остротой писал Н. А. Бердяев в его «Назначении Человека». Некоторые из этих систем и сфер очень близко подходят к иным, неэтическим мирам. Но это пограничные, или периферические территории. Кое-что сближает этику с миром познания, кое-что с миром творчества. Известная общеобязательность нравственных законов напоминает всеобщность законов разума. И самое действие обеих норм отличается сходной принудительностью. И там, и здесь звучит: ты должен — нельзя иначе! Для Шестова и там, и здесь слышится лязг цепей. Мир искусства, рядом с ними, представляется (конечно, для потребителя), как царство свободы. С другой стороны, этика и эстетика — сестры, поскольку они имеют дело с миром должного, а познание — с миром сущего. Противоположность, которая в идеальном мире — высшей математики или музыки — не столь явственна, но все же реальна. Искусство и нравственность — создают свой мир, наука его находит. Есть и другое свойство нравственного мира, роднящее его с эстетикой. На нем следует остановиться, так как забвение его всего более дискредитирует мораль. Это свойство — индивидуализация ценности. Художественное произведение дано не как приложение эстетических законов — существуют ли они или не существуют. Оно создается конкретной интуицией художника, который из данных элементов строит нечто неповторяющееся. Но совершенно подобна ему структура нравственного поступка. Нравственный поступок состоит вовсе не в приложении закона. Последнее имеет место в низшей моральной сфере, соответствующей низшей сфере искусства — почти механической репродукции, готовых клише. Нравственные законы или нормы существуют, — но как правила игры. Хороший игрок выигрывает не потому, что в данной конкретной ситуации, связанной правилами, он находит интуитивно наилучшее разрешение задачи. Подобная связанность законами материала или условного строя существует и для художника, хотя и в меньшей мере. Не законы определяют нравственное значение акта, а усмотрение оптимальности, т. е. выбора наилучшей из возможностей. Закон может быть соблюден, но может быть даже и нарушен — в редких и крайних случаях, — чего не допускает игра. Закон не один, их много, и нередко они несовместимы и противоречат друг другу. И, наконец,

наряду с законом, существует целый мир живых людей, природы, собственной личности. Последствия, трудно учитываемые — моего акта, являются таким же его условием, как и наличие разнообразных законов. Выбор акта, или пути, при таких условиях, остается теоретически необычайно труден, хотя в жизни люди, этически одаренные, нравственные таланты или гении, умеют порой находить безошибочно путь из лабиринта. Все это делает нравственную проблематику («казуистику») одной из самых интересных сфер практического разума. Это неправда и вздор, что мораль скучна. Мы способны целый вечер, с трепетом, — и в который раз — переживать моральную проблему Гамлета. Отказываясь от морали, мы закрываем себе путь и к трагическому искусству. А для большинства людей нравственный подвиг есть единственный путь к Царству Божию. Мистическая жизнь, творческое участие в науке и искусстве доступны немногим. Пассивное усвоение научных и художественных ценностей, созданных другими, сциентизм и эстетизм разрушают душу. Но нравственный подвиг доступен для всякого. Каждый может, повторяя его, раскрывая в нем свою метафизическую глубину, достигнуть того, что стоит назвать этической гениальностью. Вот в этой-то всеобщности (в смысле для всех данности, или заданности) и лежит, думается, разгадка особой близости этой сферы к религии. Вот почему в Евангелии Христос говорит так много о том, как относиться к ближнему, и ничего не говорит, как писать стихи или заниматься математикой.

#### 4.

Конкретность и индивидуальность нравственного акта, на которой мы настаиваем, еще не составляет ипостасного свойства этики: скорее, это свойство, роднящее с эстетикой. Чтобы понять ее своеобразие, необходимо сосредоточиться на самом понятии нравственного акта. Разумеется, нравственная жизнь не исчерпывается актом; она заключает в себе и процесс, органическую жизнь — роста, совершенствования или упадка, разложения. Но акт составляет самую ее сердцевину. Присмотревшись к мимо органической жизни души, мы увидим, что она, прерывиста, что она вся состоит из актов, которые, если они накапливаются в одном направлении, создают впечатление потока, но, если направлены в разные стороны, образуют драматическую основу биографии, превращают ее в поле битвы. Говоря об акте (поступке), мы отделяем его и от душевного расположения (Gessinangsethik) и от внешнего

действия (социальная этика). Акт лежит посередине между внутренним и чисто внешним и является настоящей связью между двумя мирами, или исходом личности в мир. Это ее воплощение или (?) объективация. Если я стреляю в человека, я совершаю акт убийства, хотя бы человек, по милости Божией, остался жив. Но, с другой стороны, одно желание убить не делает меня убийцей. Есть момент перехода желания в действие, внутреннего мира во внешний, который является решающим. Нравственный поступок есть акт самоопределения. Человек решает, кто он и с кем он. Это решение иногда может определить всю его жизнь.

Действительно, из понятия акта вытекает его неповторимость, его единственность. Та конкретная ситуация, в которой он должен был совершиться, не повторится никогда. «Бывшее не станет небывшим». Я могу раскаяться в своем поступке, исправить, загладить его — но все это будет уже цепью совершенно иных поступков, не равняющихся упущеному мною, не совершенному акту. Может быть, они будут выше его. Покаяние Марии Египетской, наверное, выше ее возможной, но утраченной чистоты. Но нечто совсем иное. Для выбора нам дается один краткий миг, между прошлым и будущим, и этот миг отлагается в вечности. Все настоящее, вся жизнь могут быть представлены как такой миг — выбора, решения, самоопределения. Или-или. Я могу погубить свою жизнь, «просвистать» ее или пропустить между пальцами, как делаем почти все мы, и могу сделать из нее совершенный акт — спасения, искупления, «обожения».

Можно быть противником учения о вечной гибели — по религиозным мотивам, но нельзя не видеть его связности именно со структурой нравственной жизни. В порядке только нравственном — спасение или гибель являются необходимым постулатом самоопределения: или-или. Но здесь как раз мы стоим перед границей этики. Я могу погубить мою жизнь, но Бог может спасти мою погубленную жизнь. Это Его тайна. Вопреки очевидности, вопреки нравственному голосу, я могу верить во всеобщее спасение. Но оно остается тайной иного «зона». В настоящем — приходится жить с сознанием огромного риска, постоянной возможности гибели, зависящей от последствий моих актов.

Здесь, быть может, пролегает самый глубокий ров между моралью и эстетикой (или познанием). Художественное или научное творчество не знают этой роковой неповторимости. Годами, десятилетиями, художник или исследователь могут

биться над своей проблемой, приближаясь к ее решению. Можно тысячи раз зачеркивать написанную страницу, перемешивать начатую глину, переписывать полотно. Борьба артиста или мыслителя может быть упорной до отчаяния, — все же она лишена этого рокового сознания — неповторимости. Поэтому процесс создания художественного и научного может быть выражен скорее в терминах органических: созревания, роста, — нежели акта. Лишь редко творец приходит к сознанию, что дни его сочтены, что эта полнота его сил и средств никогда уже не повторится. Тогда его жизнь становится нравственной трагедией. Впрочем, жизнь некоторых трагических художников и является нравственной трагедией: Микель-анджело, Бетховен.

### 5.

Возвращаемся к нравственному акту. Какие мотивы определяют решение, лежащее в его основе? Это решение принимается, во всяком случае, не на основе доводов разума или благородства. Наше сравнение с игрой грешит в самом существенном моменте. Когда взвешены все доводы за и против, приняты во внимание все законы и все последствия, человек совершает выбор, повинуясь внутреннему голосу, высшему, чем он сам. Большинство людей называют его *своей* совестью. Кант называет его нравственным законом. Религиозный человек назовет его голосом Божиим. Совершать нравственный акт — это значит слышать то, чего хочет от человека Бог — здесь и сейчас (*hic et nunc*) — в этом конкретном жизненном положении. Бог говорит каждому из нас, Бог говорит всегда, но только надо уметь слышать Его голос. Слишком часто он заглушается голосом страстей, или голосом благородства, или голосом почтенных, но гетерономных законов.

С религиозной точки зрения, нравственный акт вполне подобен пророчеству. Различие в масштабе, в объеме действия. Пророк слушает волю Божию о целом народе или о Церкви. Слушает и требует действия. Пророчество не предвидение будущего, и не нравственная проповедь, т. е. толкование вечных законов. Пророчество это откровение воли Божией для сегодняшнего дня. *Hic et nunc*. В Новом Завете, освобожденные от рабства закону, все призваны к пророческому вниманию к голосу Божию — прежде всего в своей личной жизни. «Народ избранный, царственное священство», они не могут быть лишены и пророчества. В Новом Завете оно нередко называется свидетельством. Действительно, каждый наш акт,

совершаемый в согласии с высшей волей, может быть назван свидетельством о Христе. Свидетельством того, что мы признаем в своей жизни Его волю превыше всех других законов, одному Царю служим — в служении, которое является одновременно и высшей свободой.

В этом ответе на обычный и достаточно уже опошленный прием дискредитирования этики, как низшей сферы, которая легко становится препятствием для духовной или мистической жизни. Всякая частная сфера, обособляясь и становясь самодовлеющей, губит духовность, вступает в противление Богу. Разве иное происходит с красотой и истиной, чем с добром. Но, углубляясь в себя, в свои собственные корни, относительное касается абсолютного: находит себя в Боге. И для нравственной жизни эта связь ее с религиозной еще более очевидна, чем связь других ценностей. Об этом говорит опыт всего человечества, особенно опыт христианский. Только полемика вчерашнего дня могла затемнить столь очевидную истину. В борьбе с обезбоженной моралью русская православная мысль попыталась создать религию без морали. Как это было возможно и что из этого вышло?

## СЛОВАРЬ

**Аскетика** (греч. *askeo* — упражняюсь) — образ жизни и поведения, предполагающий отказ от земных благ.

**Борджа, Родриго** (1430—1503) — римский папа Александр VI, известный своей безнравственностью.

**Бюхнер, Людвиг** (1824—1899) — немецкий естествоиспытатель, родоначальник вульгарного материализма.

**Вебер, Макс** (1864—1920) — немецкий социолог, автор книги «Протестантская этика и дух капитализма» (1905).

«Гениальная скаковая лошадь» — образ-символ из романа Р. Музиля «Человек без свойств» (1931).

Гея — богиня Земли в древнегреческой мифологии. /

**Гиппиус, Зинаида** (1869—1945) — поэтесса, литературный критик.

**Гревс, Иван Михайлович** (1860—1941) — профессор Петербургского университета, историк средних веков.

**Евразийство** — философско-политическое направление в русской эмигрантской мысли; ставило цель религиозного оправдания и обоснования закономерности революции в России. Название получило от материка Евразии, символизирующего единство Востока и Запада.

**Зеньковский, Василий Васильевич** (1881—1962) — религиозный философ, богослов, эмигрант, автор «Истории русской философии», т. 1—2, Париж, 1948—1950.

**Иванов-Разумник**, псевдоним Разумника Васильевича Иванова (1878—1945) — историк русской общественной мысли, литературовед.

Каннибализм (фр. *cannibale* — людоед) — людоедство.

**Левиафан** — библейское чудовище, символизирующее государство в одноименном трактате Т. Гоббса.

**Леонтьев, Константин Николаевич** (1831—1894) — русский религиозный мыслитель, публицист.

Логос (греч.) — слово, разум, мысль, закон.

**Мать Мария** (в миру Скобцова Е. Ю.) и Бунаков-Фондаминский И. И. — общественные деятели русской эмиграции в Париже. Участники Сопротивления в годы войны. Погибли в гитлеровских концлагерях.

**Мейер А. А.** (1875. Умер после Соловецких лагерей в 1939 г.) и **Карташев А.** (умер в эмиграции) — богословствующие светские писатели, активные участники Религиозно-философских собраний (1901—1904).

**Мережковские** — супруги-писатели Д. С. Мережковский (1866—1941) и Зинаида Гиппиус. Дом Мережковских — один из центров литературной и

религиозно-философской жизни Петербурга начала XX в., с 20-х гг. — в эмиграции.

Органический человек — имеется в виду человек традиционного общества, ритмы жизни которого заданы земледельческим трудом.

Ортега-и-Гассет Хосе (1883—1955) — испанский философ-экзистенциалист.

Парвеню (фр.) — уличный человек.

Парменидовское бытие — древнегреческий философ Парменид (ок. 540 — ок. 470 до н. э.), основатель школы элеатов, под бытием понимал абсолютный покой и подное отсутствие движения.

Платоновская идея — мир идеальных сущностей, идей.

Религиозно-философский кружок — организован осенью 1917 г. А. Мейером и А. Карташевым. В центре внимания: освещение современных событий в духе христианства. Разгромлен в 1929 г. по доносу.

Релятивизм (лат. *relativus* — относительность) — учение об относительности, условности и субъективности человеческого познания. Русский ренессанс (фр. *Renaissance* — возрождение) — термин, иногда используемый историками русской философии для характеристики культурной жизни в России начала XX в.

Сорель, Жорж (1847—1922) — французский теоретик анархо-синдикализма и идеологии фашизма.

Санин — герой одноименного романа Арициашева М. П. (1878—1927), изданного в 1908 г.

Спекулятивная философия — философия, обосновывающая принципы выведения знания при помощи «чистой силы ума», без обращения к практике.

Степун, Федор Августович (1884—1965) — философ-эмигрант, литературовед, историк и социолог культуры.

Теософия (греч. *theos* — бог, *sophia* — мудрость, знание, дословно — богопознание) — мистическое учение Е. П. Блаватской (1831—1891), представляющее соединение элементов восточных и западных религий.

Федотова Е. Н. — жена Г. П. Федотова.

Экзистенциальный ригоризм (от лат. *rigor* — твердость, строгость) — в тексте имеется в виду трактовка экзистенциалистами свободы как самоценности, под знаком которой человек делает самого себя.

Эпоха Екатерины II (1729—1796), российской императрицы — эпоха Просвещения в России.

Этатизм (фр. *etat* — государство) — концепция в политологии, означающая активное вмешательство государства в экономическую и политическую жизнь страны.

Яковенко Борис Валентинович (1884—1948) — русский философ-неокантинец, эмигрант, автор книги «Очерки русской философии». Берлин, 1922.

# В саду размышлений

«Мне нравится все старинное, все, что публикуется в Вашей рубрике «В саду размышлений», читаю прямо-таки с большим наслаждением», — пишет нам Т. Г. Николаева из Ставрополя.

Уважаемые читатели! Для любителей старины в этом номере мы продолжим публикации «Сказания вкратце о скифах и о славянах и о началах и здании Великого Новгорода, и о великих государях российских», «Символику драгоценных камней» (начало рубрики см.: 1990, № 7). Кроме того, мы начнем печатать фрагменты из переведенного с английского языка сочинения Литгельтона «Беседы душ великих и малых людей» (СПб., 1788) и из работы российского этнографа А. Харитонова «Врачевание, забавы и поверья крестьян Архангельской — губернии, уездов: Шинкурского и Архангельского» (Архангельск, 1848).

Сказание въ кратце о Скифехъ и о Славянахъ и о Руссии,  
и о началахъ и о здании Великого Нова града,  
и о великихъ Государяхъ Российскихъ. СПБ. Б/г.

Тип. Сухопутного Шляхетского корпуса. [С. 10—13].  
[Печатано отъ слова до слова съ древней рукописной тетрати]

... и рече имъ, что сотворити подобаетъ сыроядцы сими ратами ополчитися, многими и разбити ихъ и покорити въ вечную работу, не удобно сему быти ни како, же зельнишаго ради далнаго разстояния и неудобъ проходныхъ водь сибрскихъ и превысокихъ горъ смирити ихъ, наипаче посылаеть къ нимъ съ дары многими и писании всякими похвалами украшено и самаго Царя высокодержавною десницею златопернатами писмены подписано, писание же имаше образъ сицевъ: Александръ Царь царемъ и надъ царями бичъ Божий пресвитерный рыцарь, всего света обладатель, всехъ же подъ солнцемъ грозный повелитель, къ непокорливымъ же яросный мечъ, страхъ всего света, честнейшимъ надъ честнейшими въ далекомъ разстоятельномъ и назнаемомъ вашемъ месте и стране отъ нашего величества честь и миръ и милость вамъ, и по васъ

честнейшему колену вашему русскому княземъ и владельцамъ отъ моря Варяжскаго даже до моря Хвалынскаго дебелымъ и милымъ моимъ храброму Великосану, мудрому Асону счастному, Авесхосану вечне поздравляю васъ лицемъ къ лицу сердечно целуя, приемлю васъ яко друговъ своихъ по сердцу своему и сию лихость даю вашему владычеству: аще кто отъ моря вселится вашего княжества отъ моря Варяжскаго даже до моря Хвалынскаго, да будуть вамъ и потомству подлежать въ вечней работе; во иныеже пределы отнюдь даневступаеть нога ваша. Сие достохвальное дело вамъ нашимъ листомъ и подписано нашою царскою высокодержавною правицею и за природнымъ нашимъ царскимъ гербомъ привешеннымъ. дано вашей честности въ вечность вместе нашего дела велицей Александрии изволениемъ великихъ Боговъ Марса и Юпитера и богини Веневры и Венуса месяца Примоса начальнейшаго дня. А припись царский руки сверхъ строкъ златопернатыми письмены написана сице: Александръ Царь царемъ и надъ царями великихъ боговъ Юпитера и Венуса въ небе земски же Филиппа сильнаго Царя и Алимпиады царицы нашего великодержавного правицею утвердихъ вечне, сии же князини Словенсти иже таковыя высокия чести сподобившияся отъ всемодержавнаго самодержца сего приятии сию просветлайшую епистолию почитаху всегда вельми и обесиша ея же въ божнице своей по правую страну идола Венуса и чесне покланяхуся ей въ начальный день месяца Примоса. По сихъ же многимъ летомъ пришедшими восташа отъ рода ихъ въ языце Словенъ стемъ два князя Лахъ и Лахернъ и нача воевати, Скифсты земли Греческия; приходиша же и подъ самый той царствующий градъ и много зла кровопролития сотвориша Скифетру Греческаго царствия и храбрый князь Лахернъ подъ царствующимъ градомъ убиенъ бысть близъ моря, место же то и доныне зовется Лахерново на немъ же и монастырь честенъ возгражденъ воимя Пресвятыя Богородицы, и множество тогда безчисленно русскихъ вой подъ стенами града падоша; а князь ихъ Лахъ уязвленъ бысть вельми тяжко и съ оставшими вои возвратися во свою страну со многимъ богатствомъ. Живяху отнюдь погани яко скотъ не имуще закона онихъ же свидетельствуешь вхождении своемъ великий Апостол Андрей Первозванный, яко отнюдь невегласи тогда погани быша, Влендерехъ же тогда Кия живяху два брата, единому имя Диюлель а второму имя Дицилакшъ въ Словянехъ невегласи боги ихъ нарицаху тогда за то, иже пчелы нелезоша и борти верхъ древия устроиша, по томъ же времени прииде на

землю Словенскую праведный гнев Божий и изомриша вси людие во всехъ градахъ и селах яко несть кому и погребати мертвых...

### Символика драгоценныхъ камней

Отд. оттискъ из 1-го тома «Древности». Труд. М. Арх. Общ. типография Крачева и Ко у. Пречистинскихъ воротъ, д. Миляковой [1858]. [С. 7—9].

Во всехъ этихъ средневековыхъ сочиненияхъ о драгоценныхъ камняхъ почти совершенно исчезаетъ ихъ главнейшее мифическое значение символа небесныхъ светиль, солнца, звездъ, огня и света, когда, напротивъ, въ нашихъ изустныхъ народныхъ преданияхъ немногие камни, упоминаемые въ песняхъ, сказкахъ и заговорахъ русской старины, удерживаютъ за собой исключительно одно только это древнейшее ихъ значение, почему и носять постоянно эпитеты не только самцветныхъ (самосветныхъ), но и честныхъ камыкъ, въ смысле чуть ли не божественныхъ, чудныхъ, сверхъестественныхъ явлений.

Совершенно тождественное значение имеютъ въ нашихъ народныхъ поверьяхъ и драгоценные металлы серебро и въ особенности золото и первенство этихъ металловъ передъ камнями легко объясняется темъ, что последние, не встречаясь въ нашей северной почве, явились у насъ гораздо полнее золота и серебра, и народная жизнь не успела еще вполне съ ними ознакомиться въ ту доисторическую эпоху, когда складывались въ ней нашъ богатырский эпосъ въ его первобытномъ, чисто мифическомъ значении. Серебро, олицетворяя собой белизну дневного света, передало въ языке нашемъ, свое аллегорическое значение белому цвету вообще, напр. въ выраженияхъ белый день, белый царь, или бел-горючъ камень, — белый явно синонимъ светлого...

Золото же и золотисный цветъ остается постоянной эмблемой солнца и небесного огня. Въ языческихъ преданияхъ древняго мира, солнце, какъ плодородная производительная причина всякой жизненной силы природы, является въ уже и воображении человека и прямымъ источникомъ всего доброго и счастливаго: силы, могущества, плодородия, богатства, здоровья, красоты, вечной молодости. Вотъ почему и богатыри нашихъ русскихъ сказокъ, какъ наследники древнейшихъ мифическихъ боговъ, олицетворяющихъ некогда собой самыя небесныя светила... постоянно удерживаютъ за собой главнейшие атрибуты ихъ первообразовъ общее значение ихъ со-

лярного происхождения. Изъ совокупности всѣхъ славянскихъ преданий обѣ обоготвореніи солнца и влияніи его на жизнь природы и человека, почти положительно заключить можно, что предки наши верили въ какую-то дальнюю страну вечного тепла и света, страну источника всякой жизненной силы, или, если можно выразиться эпической формой нашихъ народныхъ песенъ, страну матерь всѣхъ прочихъ странъ света. Эту страну воображалъ себе человекъ по восходу солнца, не-пременно на Востоке, далеко за моремъ, въ тридесятомъ царствѣ, въ подсолнечномъ государствѣ, на святомъ островѣ, среди океана.

У всѣхъ славянъ сохранились преданія о Царе-Солнце, его царствѣ и его золотыхъ чертогахъ. У него 12 сыновей, и 12 солнечныхъ девъ (намекъ на зодиакальные созвездія) ему прислуживаютъ съ зарею утренней и зарей вечерней. Онъ возседаетъ на золотомъ троне и разъезжаетъ по небу на золотой колеснице, запряженной белыми конями (символъ света, белаго дня)... У насъ на Руси самая личность царя солнца совершенно исчезла, уступивъ свое место нашимъ новейшимъ былиннымъ и сказочнымъ богатырямъ; но его царство, где все, даже звери и птицы, сияѣтъ золотомъ лучезарного светила, живо сохранилось и у насъ въ рассказахъ о техъ дальнихъ странахъ куда Иванъ Царевичъ ездить добывать живую воду, золотыя яблоки, дарующія молодость и здоровіе, золотую жаръ птицу, златогриваго коня и наконецъ несказанной красоты Царь-девицу...

Беседы душъ великихъ и малыхъ людей, сочинение  
Литгельтона. Съ англійскаго на ижд.

П. Б. Въ Санктпетербургѣ. Съ дозв. указн. 1788 г.  
[С. 136—140].

Александр Великий и Карл XII, король Шведский

Алек. Кажется Ваше Величество чѣмъ то озлоблены?

Кар. Обида для насъ обоихъ общая. Здесь находится одинъ подлецъ, какой то Попе, Английский стихотворецъ, насмѣхавшийся над нами, и называвший насъ глупцами.

Ал. Я вѣсѣмъ нещастливъ въ выборѣ стихотворцевъ. Ни одного небыло на свѣтѣ такого Государя, который бы больше менѧ имъ прѣятствовалъ и получиль бы отъ нихъ столько неблагодарности и оскорблѣнія. Во времѧ своей жизни я завидо-

валь участи Ахиллесовой, для того, что онъ имель Гомера песнопевцемъ своихъ подвиговъ. Я награждалъ весьма щедро стихотворца Херикла, естьли только можно назвать его стихотворцемъ за стихи сочиненные имъ въ похвалу дель моихъ; но щедрость моя вместо принесения мне чести, на-влякла на меня посмѣяние Горациво, да и Лукианъ, другой Римский писатель, поносиль славу мою гораздо еще язви-тельнее.

Кар. Я ничего стого не ведаю; но вспомниль, что въ мое время гордой Французский сатирикъ Боало говориль о тебе съ такой хулою, что я принужденъ быль разорвать его сочинение, а постыдный Попе вздумаль надъ нами обоими смеяться. Возстановимъ свою славу, выгонимъ отсюда сихъ рифмовтор-цевъ и повержимъ ихъ въ Преисподнюю въ презрение къ Плу-тону и всей его свиты.

Ал. Вотъ точно подобный умысель тому, что ты имель при Бендерахъ, когда, хотль съ тремя стами Шведовъ противъ стоять всей силе Отоманской порты. Надобно признаться, что за подобные симъ глупости, посправедливости английский стихотворецъ называетъ тебя безумнымъ.

Кар. Естьли мос геройство было ничто другое какъ глупость, то думаю и твое не отъ благоразумия происходило.

Ал. Великос есть различие между твоими и моими поступ-ками. Пусть стихотворцы и ораторы говорять, что имъ угодно, история свидетельствуетъ, что я не только быль хоро-шимъ воиномъ, но и искуснейшимъ въ свете полководцемъ, вместо того, чтобы ты введя неосторожно свое войско въ про-странныя и пустыя поля при наступлении зимы, подвергъ оно гибели, лишиль на пути пищи, потеряль артиллерию свою и принужденъ быль сражаться съ Россиянами съ чрезвы-чайнымъ урономъ.

Кар. Я не желаю съ тобою спорить о предводительстве; ибо не прилично смертному спорить о изяществе своихъ поступ-ковъ съ сыномъ Юпитера.

Ал. Ты думасшь, что называвъ меня Юпитеровымъ сыномъ, имесшь уже право почитать меня за глупца, какимъ ты ока-зался, находясь при Бендерахъ съ сумозбронными своими предп-приятиями, въ томъ много ошибаешься; ибо не тщесла-вие но политика принудила меня украсить себя такимъ титу-ломъ. Когда я принялъ намеренис завоевать Азию, неотменно нужно было, что бы въ уме простого народа почитался за не-что большее человека...

А. Харитоновъ. Врачевание, забавы и поверья крестьянъ  
Архангельской — губернии, уездовъ: Шинкурскаго  
и Архангельскаго VIII смесь.

Архангельскъ, 7 февр. 1848 г. [С. 1—3].

Для того, чтобы вернее узнать взгляды крестьянъ на окружающее, ихъ поверья, приметы, по-моему недостаточно распрашивать ихъ обо всемъ этомъ. Рассказывая все, для него заветное, дедовское, онъ четверти не скажеть, боясь какихъ-то воображаемыхъ придиrokъ со стороны местныхъ властей и вам удастся выпытать от него, самую малую часть богатой сокровищницы вековыхъ поверьй. Да и можно ли разспросами вытащить изъ крестьянина его поверья? Это, по-моему, тоже, что заставить говорить его известныя ему пословицы и поговорки. Если вы будете выпытывать у него что-либо по части демонологии, онъ решительно испугается васъ, и въ отвete на вопросы ваши, самый истый колдун-знахарь будетъ показывать вамъ на муки еретиковъ, такъ ярко-намазанныя неизвестной фантазии среднихъ вековъ... изображающей страшный судъ, висящей почти въ каждомъ доме.

Не по тому пути следовать я, собирая все это: я старался доискиваться заветныхъ крестьянскихъ тетрадокъ, ходящихъ между ними подъ названиями «травениковъ»; въ этихъ-то тетрадкахъ они добросовестно и верно записываютъ свои поверья, касательно различныхъ домашнихъ нуждъ, приметы о переменахъ погоды и проч. Въ этихъ же тетрадкахъ, писанныхъ когда-то досужими прадедами, и потому уже уважаемыхъ крестьянами, находятся, между прочимъ, описания веществъ, служащихъ лекарствами въ различныхъ болезняхъ, въ этихъ заповедныхъ тетрадкахъ крестьянинъ, безмолвно удивляющийся глубокому расчислению, сколько отсюда до Питера вершковъ, самъ магъ, властелинъ надъ всеми стихиями.

Для того, чтобы крестьянина не могла коснуться нечистая сила, онъ носить съ собою траву «дудрявый кягиль»\*; если онъ утромъ съесть ее на тощее сердце (на тощакъ), то въ тотъ день не боится никакой порчи; если онъ пойдетъ въ пиръ и корень этой травы будетъ держать въ волосахъ, «въ пиру все полюбить его и онъ будетъ принять съ почетомъ»...

\*Вероятно, это дягиль. — Прим. ред.

Нечистый духъ, по мнению здешнихъ правоведовъ, боится не одного ладана: кто при себе носить чертополохъ, того онъ не посмееть коснуться.

Дикое мясо, вырастающее въ язвахъ, истребляеть жженый хренъ, присыпанный къ нему. Отъ этого недуга знахари счи-таютъ не мене полезнымъ сокъ сырой репы. Этотъ сокъ «зело угоденъ на всячину: живить рану»; вода, въ которой варились репа, самое действенное средство противъ сухого кашля: пить утромъ натощакъ по три пивныхъ чашки теплой (каждая вме-стимостью равна  $1\frac{1}{2}$  стаканамъ).

«Если хочешь узнать — будеть ли живъ болящий, положи ему межъ ножныхъ перстовъ кусокъ хлеба, поманя (подо-ждавъ) винъ и брось собаке: если будеть есть — больной вста-нетъ, другомя — ладъ гробъ».

Нервныя и простудныя болезни, также горячки (здесь бол-езни сердца) лечать отваромъ травы «мачихино лице»; она растеть по сенокосамъ, имеет листки формою конскому копы-ту подобные, корень цвета чернаго. Эту траву парять въ заку-поренномъ горшке — и пить натощакъ...

Есть трава «осотъ», вельми добра; «кто знаетъ ее и тотъ ве-ликъ талантъ... приобряшеть на земли, листья у ней, что де-нежки, высота въ пядь, цветъ на ней разный, а растеть она по сильнымъ местамъ раменскимъ; та трава иному покажется, а иному не покажется: ту траву добро держати торговому чело-веку или кто хощеть богатъ быти. Ту траву носи при себе, много добра обрящешь и отъ людей честенъ будешь, и во вся-кихъ ремеслахъ поищеть тя Богъ, и с великою славою возн-есешься на земли: корень ее такъ светель какъ воскъ, и растеть она при моряхъ, а именуется царь во травахъ».

Научно-популярное издание

**Г. П. ФЕДОТОВ О СУДЬБЕ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ**  
(Из цикла «Страницы истории отечественной философской мысли»)

Редактор Л. К. Кравцова  
Мл. редактор И. В. Яковлева  
Худож. редактор М. А. Гусева  
Техн. редактор Н. В. Клещская  
Корректор Е. И. Альшевская

ИБ № 11743

Сдано в набор 18.06.91. Подписано к печати 11.09.91. Формат бумаги 84x108 1/32.  
Бумага тип. № 2. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 3,36. Усл. кр.-отт. 3,57. Уч.-изд. л. 3,37. Тираж 129564 экз. Зак 880. Цена 25 коп. Издательство «Знание». 101835, ГСП, Москва, Центр, проезд Серова, д 4. Индекс заказа 911009.

Отпечатано с оригинал-макета издательства «Знание» в типографии Всесоюзного общества «Знание». Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4.

АНОНС ♦ АНОНС ♦ АНОНС ♦ АНОНС

В 1992 г. в брошюрах серии «ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ»  
вы прочтете о счастье, о смысле жизни,  
свободе воли, судьбе, о смерти  
и бессмертии, самоубийствах и др.

При этом будут публиковаться частями (с продолжением):  
не переиздававшиеся с начала века фрагменты  
из «Летописных тетрадей»,  
мифы, предания о стариных врачеваниях и повериях; книги:

А.Шопенгауэр «О СВОБОДЕ ВОЛИ» (СПб., 1887),

«О ХРИСТИАНСКОМ БРАКЕ  
И ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ МУЖА И ЖЕНЫ.  
Учение св. Иоанна Златоуста» (М., 1905),

Поссе В.А. «ЛЮБОВЬ В ТВОРЧЕСТВЕ Л.Н.ТОЛСТОГО»  
(М., 1918),

«СИМВОЛИКА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ»  
(М., 1848),

«ВЛАСТЬ ИМЕН (О влиянии имени на судьбу человека)»  
(М., 1914),

«ФИЛОСОФИЯ МЕТЕРЛИНКА»  
(Пер. с франц., СПб., 1903),

Минцлов С.Р. «МИСТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА»  
(Записки общества любителей осенней непогоды)  
(Рига, б/г.).

Будет печататься частями (с продолжением)  
«АГНИ ЙОГА» из «ЖИВОЙ ЭТИКИ» Рерихов,  
Ф.Ницше «ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА»,  
Фромм «О ЛЮБВИ К ЖИЗНИ» и др.





Дорогой читатель!

33 - 1

Брошюры этой серии в розничную продажу не поступают, поэтому своевременно оформляйте подписку.

Подписка на брошюры издательства «Знание» ежеквартальная, принимается в любом отделении «Союзпечати».

Напоминаем Вам, что сведения о подписке Вы можете найти в каталоге «Всесоюзные газеты и журналы» в разделе «Подписные серии издательства «Знание».

# ЗНАНИЕ

Цена подписки  
на год  
3 руб.



Издательство  
«Знание»

Наш адрес:  
101835,  
Москва, Центр,  
проезд Серова, 4